



КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

ПАУСТОВСКИЙ

*СОЗВЕЗДИЕ
ГОНЧИХ ПСОВ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Константин Паустовский
Созвездие Гончих Псов

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Паустовский К. Г.

Созвездие Гончих Псов / К. Г. Паустовский — «Издательство АСТ», — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-156761-3

Почти без связи с окружающим миром, высоко в горах в уединенной обсерватории живет международная команда астрономов – и далеко не сразу обнаруживает, что в страну, давшую им приют, пришел кошмар гражданской войны... Общая история связывает судьбы представителей трех поколений мужчин и женщин – декабриста и дочери смотрителя старого маяка, молодого морского офицера Российской империи и пожилой супружеской четы, художника и очаровательной финской девушки... В поисках исчезнувшего дневника молчаливый журналист, энергичный капитан и сильный духом писатель путешествуют по Кавказу и Черному морю и попадают в запутанную и увлекательную приключенческую историю... «Созвездие Гончих Псов», «Северная повесть» и «Блистающие облака» – три повести Паустовского, очень разных стилистически, но в равной степени отмеченных поразительным чувством слова и яркой образностью одного из талантливейших русских писателей XX века.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-156761-3

© Паустовский К. Г.
© Издательство АСТ

Содержание

Созвездие Гончих Псов	6
Северная повесть	23
Часть первая	23
Часть вторая	44
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Константин Паустовский

Созвездие Гончих Псов



© К. Г. Паустовский, наследники, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Созвездие Гончих Псов

Всю осень дули ветры с океана. Воздух дрожал, и наблюдать звезды по ночам было очень трудно.

Астроном Мэро был болен и стар. Он не мог сам раздвинуть маленький купол обсерватории и звал на помощь садовника. Они вдвоем тянули за тонкий канат. Створки купола тихо визжали, расходились, и, как всегда, в совершенной темноте появлялось холодное звездное небо.

Мэро садился отдохнуть на лесенку и горестно качал головой: «Ну, конечно, опять ветер! Опять воздух разной плотности летит над землей, перепутывая световые лучи».

Сухие дубовые листья залетали в обсерваторию. Деревья шумели за стенами, и садовник говорил, что если ветер срывает даже дубовые листья, то, значит, будет дуть очень долго.

Мэро любил поговорить с садовником. В горной обсерватории жило всего восемь человек. До ближайшего городка было тридцать километров каменистой трудной дороги. Товарищи Мэро – астрономы – отличались молчаливостью. Они разговаривали редко, – все, что можно рассказать, уже было рассказано. Они избегали расспросов и делали вид, что поглощены вычислениями.

Старуха Тереза – тоже молчаливая и суровая – готовила астрономам скромный обед. С каждым месяцем обед в одни и те же часы, в обществе одних и тех же людей становился все тягостнее. С каждым годом все крепче овладевала людьми привычка к одиночеству. Тишина была так постоянна, что даже случайно прочитанные книги Мэро воспринимал как шум. Читая книгу, он, конечно, не слышал никаких звуков, но живо представлял их себе и сердился тем сильнее, чем больше было в книге сутолоки и громких разговоров.

– Какая крикливая книга! – говорил он и морщился. – В ней люди невыносимо орут, спорят, плачут... Нет сил разобраться в этом вопле.

Слух его за несколько лет жизни в обсерватории очень окреп. Он слышал много звуков, которых раньше не замечал. Они были однообразны. Ветер посвистывал в проволочных каналах, поддерживавших мачту; на ней по праздничным дням подымали флаг. Тогда прибавлялся еще один звук – веселое хлопанье флага. Оно вызывало воспоминания о праздниках в детстве, когда их городок так шумел от флагов, что у бабушки Мэро начиналась мигрень.

В детстве было много солнца, гораздо больше, чем теперь, и солнце тогда было совсем иное – очень яркое, огромное, занимавшее полнеба.

– Мне кажется, – говорил Мэро садовнику, – что солнце остывает на наших глазах. Свет уже не тот, да, не тот, как будто его закрыли пыльным стеклом.

Садовник соглашался со всем, – не ему было спорить с таким ученым человеком, как Мэро.

Кроме шума ветра, были еще другие звуки. Зимой мистраль нес через горные перевалы сухой снег и шуршал им, как песком, по окнам лабораторий. Изредка кричали орлы. Иногда дождь журчал в каменных водостоках. Летом был слышен редкий гром. Его раскаты возникали не над головой, как обычно, а внизу, в долинах. Грозовые тучи теснились гораздо ниже высот, на которых стояла обсерватория.

Этим, пожалуй, исчерпывались все звуки, если не считать плача заблудившихся коз и крика автомобиля, – раз в неделю шофер привозил из городка продукты, газеты и почту.

Газеты забирал к себе в комнату молодой астроном Ньюстэд – неуклюжий норвежец – и никогда не возвращал. Сначала астрономы ворчали на невежливого норвежца, потом привыкли к этому и забыли о существовании газет. Изредка они спрашивали Ньюстэда, что происходит внизу, в человеческом мире, откуда можно было ждать одних неприятностей. Ньюстэд неизменно отвечал, что мир по-прежнему сходит с ума. Этот ответ удовлетворял всех.

В конце осени Мэро, проводивший ночи около телескопа, – он изучал в то время созвездие Гончих Псов, – впервые услышал новые звуки. Они напоминали гул отдаленных горных обвалов. Вначале они были так слабы, что Мэро их плохо различал. Мэро терялся в догадках, но даже не пытался рассказывать о своих наблюдениях астрономам, – его и так считали чудачком. Но звуки усиливались. В одну из ночей сотрясение было уже так велико, что звезды сместились и раздвоились в зеркале телескопа.

Звуки шли со стороны побережья. Мэро вышел на железный балкон обсерватории и долго всматривался в горы.

Он видел все то же: снега, лунный блеск, звезды, лежавшие прямо на утесах, как сигнальные огни, – но нигде не было белой пыли, обычной спутницы снежных лавин.

– Матвей, – окликнул Мэро садовника, – вы ничего не слышали? Должно быть, в горах снежные обвалы.

– Слишком мало снега для обвалов, – ответил садовник. – Надо прислушаться.

Они замолчали. За оградой был слышен мерный плеск воды, будто падавшей на стекло. Это шумел ручей, кое-где уже покрытый коркой льда. Тишина длилась долго. Потом тяжелый удар прокатился с востока и, отраженный горами, вернулся обратно на запад и стих.

– Это не обвал, – пробормотал садовник.

– Что же тогда?

– Это дальнобойные, – ответил неуверенно садовник. – Война бродит кругом, но сюда она не подымется. Слишком высоко. Здесь ей нечего делать.

Тогда Мэро вспомнил скупые рассказы Ньюстэда о гражданской войне, опустошавшей в долинах старинные города и скудные поля крестьян. Вспомнил жалобы шофера на то, что в городке остались одни женщины и старики и ему приходится самому грузить продукты и потому опаздывать. Вспомнил, что Тереза начала готовить обеды гораздо худшие, чем раньше, но на это никто не обратил внимания.

Надо было тотчас все узнать. Мэро закрыл обсерваторию и спустился к жилому дому.

Астрономы сидели за ужином. Каминная труба в столовой пела глухо и сонно, – так она пела уже много лет.

– Друзья, – сказал, задыхаясь, Мэро. Он остановился в дверях и торопливо разматывал теплый шарф. – Я слышу отдаленную канонаду.

Астрономы подняли головы от тарелок.

– Ньюстэд, – продолжал Мэро очень громко и возбужденно, и астрономы оглянулись, но не на Мэро, а куда-то в угол, как бы не допуская мысли, что громкий голос может принадлежать больному старику. – Ньюстэд, вы должны подробно рассказать нам, что происходит.

Ньюстэд не ответил. Он взглянул на часы, встал и подошел к радиоприемнику. Все с удивлением наблюдали за ним.

Ньюстэд наклонился над рычагами. Красным накалом загорелись электрические колбы, и печальный мужественный голос начал говорить об уличных боях в Мадриде, о воздушных бомбардировках, о сотнях изуродованных снарядами детей и о гибели дворца Альбы, где горят полотна Веласкеса и Риберы.

Астрономы слушали молча. Голос умолк так же внезапно, как и начал говорить.

– Что вы думаете об этом? – спросил Мэро в наступившей тишине и понял, что вопрос его был не совсем уместен.

Ньюстэд лениво вернулся к столу. Он сидел, вытянувшись, как бы прислушиваясь, и крепко держался за стол большими руками.

Сухой старик в сером костюме, сейсмолог Дюфур, отличавшийся изысканностью речи, первый нарушил молчание.

– Каждый из нас, – сказал он, усмехаясь, – чувствует себя в осажденной крепости с того дня, как он прибыл в обсерваторию. Мы окружены горами, где нет ни лесов, ни руды, ни угля.

Нас осаждают ветры и снега. Миру нет дела до нас – и нам нет дела до мира. Люди безумствуют в долинах, но сюда им незачем подыматься. Здесь только звезды. Нельзя перелить их на орудия или добыть из них ядовитые газы. Они бесполезны для разумного человечества. Поэтому мы в безопасности.

– Не шутите так, Дюфур, – сказал Ньюстэд. – Война длится уже пять месяцев.

– Глупости, глупости, – пробормотал дребезжащим голосом молчавший до сих пор Эрве. Это был человек, словно лишенный возраста: ему можно было дать, не ошибившись, и сорок и шестьдесят лет. – Меня интересует другое: как может человек огорчаться из-за того, что сгорел кусок холста, хотя бы и покрытый красивыми красками? Я говорю о картинах Веласкеса. Всю жизнь я вожусь со звездами, это научило меня не волноваться из-за пустяков. Что может быть более непрочным, чем кусок полотна? А ради него люди мучаются, радуются и даже умирают. Это непонятно! Как можно связывать свою жизнь с такими вещами, когда существуют мысль и небо!

Разговор прервал Дюфур. Он быстро вышел и вернулся с тонкой бумажной полоской.

– Вот, – сказал он с торжеством, – еще одно доказательство точности моего сейсмографа. Он записал за последние дни около двухсот небольших сотрясений земли. Очевидно, это и есть разрывы снарядов. Я только сейчас об этом догадался.

Астрономы наклонились над бумажной полоской. Карандаш вычертил на ней ломаную линию, отражавшую колебания земной коры.

Ньюстэд провел пальцем по изломанной линии. Глаза его были прищурены, а папироса крепко зажата прокуренными выпуклыми зубами, – Ньюстэд злился.

– Каждый излом, – сказал он, – означает удар снаряда. Ваша машина, Дюфур, лучше всего записывает убийства.

Дюфур хотел возразить, но не успел, – ясный удар возник за окнами. Горное эхо превратило его в раскаты и обрушило вниз, в каменные пропасти. Все притихли.

Мэро молчал. Ему не хотелось участвовать в бесплодном разговоре. Всю жизнь он думал, что изучение неба, так же как раскрытие всех других загадок вселенной, роднит человека с землей. Мэро был стар, добр и весь запас своих знаний берег не для себя. Он начал даже писать книгу о небе для тех веселых и вихрастых школьников, что должны были завидовать ему, старику, там, далеко, в глубоких земных долинах.

Непривычные мысли и воспоминания владели им в последнее время. Он вспоминал детство, а старики очень не любят вспоминать эту пору своей жизни. Он вспоминал елку. Пока ее не зажигали, она таинственно жила в соседней комнате за закрытой дверью, и только слабый запах хвои тревожил детское воображение. Потом дверь распахивалась, он робко входил и видел сверкающее дерево. Он мог рассматривать его, трогать хвою и золотые орехи, стеклянные нити и хлопушки, мог нюхать апельсины и инжир, висевшие на ветках, – он мог изучать елку, но, несмотря на это, ощущение тайны и прекрасных вещей, наполнявших комнату, не покидало его ни на минуту.

Такое же чувство он испытывал от познания вселенной.

– Все существует для человека, – говорил Мэро. – Если исчезнут люди, то, боюсь, мне, астроному, будет ненужно даже звездное небо.

Эти мысли Мэро не решался высказывать часто, – они не встречали сочувствия. Сегодняшний разговор в столовой вызвал у него раздражение. Он не замечал раньше у своих собратьев по науке такой сухости мыслей и чувств. Грубый и ленивый Ньюстэд был, пожалуй, лучше их всех.

Гражданская война в долинах, отзвуки сражений и неприятный разговор в столовой как будто не нарушили жизни ученых. Астрономы работали по ночам, спали первую половину дня, а вечера проводили в лабораториях. Там они сличали снимки звездного неба за мно-

гие годы, стремясь найти незначительные изменения. Каждое изменение в знакомой путанице звезд являлось открытием и давало повод для интересных догадок.

Ничто не изменилось, но все же непонятная тревога овладела учеными. Ее мог заметить только опытный глаз.

Мэро, сидя у телескопа, что-то сердито и подолгу бормотал. Ньюстэд два раза был замечен в том, что среди дня наводил искатель телескопа на край отдаленных гор. Остальные делали вид, что не замечают этого, – по астрономической традиции, рассматривание в телескоп земли считалось занятием для дураков.

Дюфур изредка говорил, что ощущение близкой, но безопасной для него войны укрепляет его нервы. Когда падал снег, астрономы бывали не в духе, – облачное небо останавливало работу. Больше всех негодовал Эрве. Теперь же, когда пошел густой снег, Эрве заметил, что снег, к счастью, сделает дорогу в обсерваторию непроходимой для вооруженных отрядов. Дюфур ядовито усмехнулся.

Библиотекарь Бодэн начал отбирать газеты у Ньюстэда и прочитывал их от доски до доски. При этом он так морщился, будто газетные заметки причиняли ему назойливую боль.

Как-то декабрьской ночью в обсерваторию Мэро вошел Ньюстэд. Это было нарушением правил, – никто не должен был мешать друг другу во время наблюдений, Мэро оглянулся и встал.

Ньюстэд остановился. Он расставил ноги и засунул руки в карманы брюк. Оба молчали.

Мэро почувствовал легкий запах вина. Это было уже слишком. Поведение норвежца делалось вызывающим.

– Я пришел, – сказал Ньюстэд так громко, будто он говорил с глухим, – помочь вам закрыть купол, потому что удар будет внезапным.

«Он пьян, – подумал Мэро. Впервые он видел пьяного человека в обсерватории. – О каком ударе он говорит?»

– Удар будет внезапным, – сердито повторил Ньюстэд. – Не упрямитесь. Выйдите и посмотрите.

Ньюстэд закрыл купол, взял Мэро за локоть и вывел на железный балкон. Мэро шел безропотно, – в словах Ньюстэда он почувствовал тревогу и угрозу.

– Вот. – Ньюстэд кивнул на горы. – Какое прекрасное зрелище!

Над зубцами гор подымалась отвесная облачная стена. Она была освещена неизвестно откуда исходившим тусклым светом. Она протянулась от одного края горизонта до другого и на глазах росла, светлела, как бы распухала, закрывала звезды.

– Ураган, – сказал Ньюстэд и засмеялся. – Через десять минут он будет здесь. Дайте только ветру прорваться через горы.

– Почему же так тихо? – спросил Мэро.

– Ураганы всегда подходят в тишине.

Тишина была такой напряженной, что звуки собственных голосов казались им надтреснутыми и неприятными. Не было слышно даже привычного шума ручья. Горы уже курились серым дымом.

– Надвигается, – прошептал Ньюстэд.

Мэро наклонился вперед. Он вслушивался. В невыносимой тишине далеко и слабо жужжал мотор.

– Там человек. – Мэро показал на горы.

Снежные смерчи уже взлетали взрывами к черному небу.

– Где? – спросил Ньюстэд.

Мэро схватил его за плечо.

– Там, там! – кричал он и показывал на вершины, где Ньюстэд не видел уже ничего, кроме урагана, стремительно падавшего в ущелья дымными потоками. – Я слышу аэроплан.

– Вы... – крикнул Ньюстэд, но удар ветра оборвал его хриплый крик.

Земля вздрогнула, и тяжелый непрерывный вой урагана уничтожил все звуки. Ветер оторвал Мэро от перил балкона и прижал к стене обсерватории. Снег хлестал в глаза, в рот, не давал дышать. Ньюстэд схватил Мэро за руку и потащил вниз, – норвежец был уже весь белый от снега.

Они пробивались через тяжелые потоки воздуха к жилому дому, хватались за деревья, за кусты, почти падали на землю, закрывали руками глаза от мелкой гальки, больно бившей по лицу. Все дрожало вокруг и выло на разные голоса. Мачта напряженно гудела, голый сад свистел, как сотни яростных флейт, трещала разбитая черепица, звенели стекла, коротким непрерывным громом гремели железные крыши.

Фонари на столбах не качались на проволочных канатах, а были вытянуты наискось к земле, – ветер не давал им качаться, он отклонял их в сторону и каждую минуту мог сорвать и унести.

Ньюстэд втащил Мэро в столовую и только тогда окончил прерванную ветром фразу.

– Вы ошиблись, – сказал он, снимая пиджак и стряхивая с него снег, – аэроплана не было. А если он и был, то теперь его уже нет. Осталась только куча щепок.

Мэро не возражал.

Вскоре в столовую собрались астрономы. Буря объединяет людей. Она подогревает воображение. Даже скучные люди находят во время бури слова, чтобы передать легкое возбуждение, что охватывает человека, когда за стенами безумствует ветер.

Астрономы разошлись очень поздно. Мэро не спал. Он лежал на своей узкой кровати, прислушиваясь к вою ветра, и чувство одиночества сжимало ему сердце. Неужели так и придется жить до смерти в этих горах, в белой комнате, похожей на больничную палату? Неужели никто не придет, не погладит седую голову и не скажет: «Спи, я посижу около тебя и почитаю, пока ты уснешь?»

Мэро лежал свернувшись и казался себе мальчиком. Он вспомнил слова Эрве: «Астрономы не должны иметь любимых людей». «Да и старики, должно быть, тоже», – подумал Мэро.

Он встал, поднял штору и снова лег. Ему хотелось быть поближе к урагану, а опущенная штора казалась железным занавесом. Теперь ураган был совсем рядом, за двойными рамами окон. Он не только визжал, распевал в скалах и плескал снегом в стекла, но и светил. Тихий свет сочился от снегов. Он был чуть синеватым, будто за окнами кто-то зажег большие спиртовые горелки.

– Не надо засыпать, – пробормотал Мэро и начал думать об аэроплане, пролетевшем перед бурей над горами. Летчик не мог оглянуться, – впереди торчали отвесные скалы, – и только спиной, одной беспомощной спиной он ощущал ураган, догонявший его, как гончая заяц.

Ветер стучал ставнями. Болело сердце, и мысли медленно запутывались, пока Мэро не задремал.

Ему приснился странный сон. Будто он садится в запыленный серый автомобиль, чтобы ехать на юг Испании. Вместе с ним садится высокий тощий старик с седой дрожащей бородкой. Потертый костюм старика топорщится и гремит, и Мэро с испугом замечает под пиджаком у своего спутника заржавленные старые латы.

– Мы поедем туда и обратно, – говорит старик, и латы его скрежещут и скрипят в тесной машине, – и вы увидите всё. Постарайтесь сдержать слезы.

И вот они мчатся по узким дорогам среди гор, и с каждого перевала открываются внизу громадные, как море, пространства разноцветной земли, то коричневой и сожженной небом, то черной от листвы лимонных деревьев, то медной от спелых колосьев, то голубой от воздуха, застоявшегося над лесами. И каждый раз при виде новых долин старик в латах встает, протягивает руку вперед и с торжеством кричит одно и то же слово:

– Испания!

Так они мчатся мимо городов, где столько солнца, что оно не помещается на черепичных крышах и стенах домов и проникает даже в самые дальние углы погребков, где Мэро пьет со стариком вино и ест сыр, пахнувший гвоздикой.

Так они мчатся мимо старинных соборов, как будто покрытых серой копотью жары, мимо рек, из которых лениво пьют чистую воду терпеливые быки, мимо школ, где поют дети, мимо дворцов, где за полотняными занавесями сверкают в сумраке картины великих мастеров, мимо садов и полей, где каждый комок земли взвешен на руке и растерт твердыми ладонями спокойных поселян, мимо парков и заводов, жужжащих, как шмели, колесами горячих машин, мимо страны, летящей навстречу в ветре, хохоте, песнях, приветствиях и разнообразных отзвуках прекрасного труда.

В пустынном городке они проносятся мимо памятника какому-то высокому старику с седой бородкой. Мэро узнает в этой бронзовой фигуре своего спутника и успевает прочесть на памятнике надпись: «Мигель Сервантес».

– Так это вы – Сервантес? – кричит Мэро старику.

Старик снимает шляпу и рассеянно отвечает:

– Да, я когда-то жил в этом городе.

Они поворачивают обратно и снова несутся мимо тех же городов, теперь уже лежащих в развалинах, наполненных тяжелым смрадом трупов, мимо школ, где на порогах валяются убитые дети с жалобно открытыми ртами, мимо безумных женщин, бегущих по дорогам с остекленевшими глазами, мимо расстрелянных, привязанных за руки к ручкам дверей, мимо облетевших от пожара садов, мимо надписей, сделанных сажеей на белых оградах: «Смерть всем, кто думает о свободе и справедливости! Смерть всем, кто не с нами!», мимо дворцов, превращенных в кучи черного мусора.

Отряд пехотинцев останавливает машину. У солдат тяжелые сапоги, похожие на ведра, красные лица, рыжеватые усы. Командует ими белобрысый офицер с оттопыренными ушами и сухим затылком.

– Вы кто? – кричит офицер.

Старик в латах встает, глаза его чернеют от гнева, руки трясутся.

– Собаки! – кричит он. – Наемные убийцы, обросшие кровавой шерстью! Прочь из моей страны! Я – Мигель Сервантес, я сын и поэт Испании, я солдат и честный человек!

Старик широко расставляет руки, он хочет задержать солдат.

– Огонь! – кричит офицер и взвизгивает от злости.

Солдаты стреляют, и Мэро слышит, как пули бьют по заржавленным латам старика, и старик падает лицом в пыль и, умирая, гладит худыми теплыми руками щебенку родной дороги.

– Испания! – говорит он страстно, и редкие слезы падают на горячую землю. – Испания, мать моя, страна моих детей!

Снова щелкают пули по латам, но почему-то очень негромко.

Мэро проснулся. Как будто кто-то стучал в дверь. Он прислушался. Ветер еще шумел, но не так сильно, как вечером. Ураган устал. Хлопнула ставня, и кто-то застучал в дверь сильнее.

– Кто там? – спросил Мэро почти шепотом.

– Я, сударь, – ответил из-за двери садовник.

– Что случилось?

– В ущелье, за ручьем, стреляют, – сказал садовник. – Может быть, вы встанете, и мы послушаем. Я думаю, что случилась беда.

Мэро начал поспешно одеваться. Неужели война поднялась и сюда, в никому не нужные горы? Он вспомнил только что виденный сон, и ему показалось, будто кто-то медленно стискивает ему горло.

– Должно быть, это хлопают ставни, Матвей, – сказал он шепотом, боясь разбудить Эрве, спавшего за стеной. Ему хотелось верить, что садовник ошибся и никаких выстрелов нет. Кто и в кого может посылать пули в этой пустыне?

Садовник ничего не ответил. Они вышли. Снег уже не падал. Ветер стихал, и на востоке смутно виднелись громады туч, задержанных горами. Начинался рассвет. Он просачивался сквозь разрывы тяжелого неба, и можно было уже различить деревья, покрытые снежными шапками, и зеленую воду в бассейне, где плавали маленькие вылинявшие рыбки.

Садовник провел Мэро к ограде. За ней дымилась пропасть и бормотал ручей. Дна пропасти не было видно, – темнота в горах дольше всего держится в ущельях и уходит оттуда медленно – пожалуй, не быстрее, чем испаряется снег.

– Это здесь, – сказал садовник и показал за ограду.

Мэро заглянул вниз, но ничего не увидел.

– Мое зрение ослабло, – сказал он печально. – Я ничего не вижу. Может быть, вы увидите лучше меня.

– Страшновато заглядывать, – ответил садовник. – Давайте лучше немного послушаем.

Они замолчали. И тогда Мэро услышал как будто слабый человеческий стон или хриплый короткий крик. Он был очень неожиданным. Потом два глухих выстрела прогремели в темноте на берегу ручья.

Мэро отшатнулся от ограды и быстро пошел к жилому дому. Садовник, ничего не понимая, растерянно шел следом. Снова прогремели два коротких выстрела.

Мэро прошел в лабораторию. Садовник шел за ним. Мэро открыл нишу в стене. Руки его дрожали. Он нажал кнопку, и пять колоколов начали яростно звонить в разных концах дома и в обсерваториях. Это был сигнал тревоги. Его давали только в случае серьезной опасности или необходимости немедленно созвать всех обитателей обсерватории.

Колокола гремели оглушительно.

В комнатах зажегся свет, захлопали двери, – и через несколько минут в лаборатории собрались взволнованные астрономы.

Один Ньютэд был спокоен. Он подошел к Мэро, крепко взял его за плечо и слегка встряхнул.

– Что случилось? – спросил он очень громко.

Никто не обратил внимания на грубый поступок Ньютэда.

– В ущелье, – ответил Мэро, – кто-то погибает. Он просит помощи.

– Откуда вы это взяли? – рассердился Дюфур. – Он кричит?

– Он кричит и стреляет через равные промежутки времени.

Наступило молчание.

– Кто пойдет со мной? – спросил неожиданно Ньютэд. – Если он разбился, надо идти вчетвером. Иначе мы его не вытащим.

– Я бы пошел с вами, – ответил садовник.

– Этого мало.

– Тогда возьмите меня, – тихо попросил Бодэн.

– Все равно мало. Надо идти вчетвером, – повторил Ньютэд.

Мэро молчал. Он не мог спуститься в ущелье. Даже в автомобиле, когда машина подымалась в горы, и то Мэро уставал. Ему передавалось напряжение мотора.

– Ну что же, – сказал Эрве, – я очень вынослив, хотя и выгляжу стариком.

– Это не имеет значения, – ответил Ньютэд. – Идемте.

Когда они оделись и вышли, было уже светло, но туманно. Ньютэд первый пролез через ограду и начал спускаться. В руках у него был канат. Вторым перелез садовник. Бодэн и Эрве спускались последними. Щебень осыпался у них из-под ног и громко шуршал по откосам.

Мэро и Дюфур стояли около ограды. Взошло солнце, снег начал таять, с деревьев падали крупные капли воды.

Ньюстэд и его спутники растворились в тумане. Сначала ничего не было слышно, кроме стука скачущих по обрыву камней, потом Ньюстэд закричал:

– Эге-гей, эге-гей! – И в ответ где-то очень близко хлопнул выстрел.

Ньюстэд крикнул:

– Стреляйте вверх, а не в скалы, черт вас возьми! Может быть рикошет.

Чей-то незнакомый голос несколько раз позвал:

– Сюда, сюда! Перейдите ручей, сюда!

Голоса были слышны отчетливо, будто из соседней комнаты.

– Рикошет, – повторил Мэро с удивлением. Он знал значение этого слова, но произнес его в первый раз в жизни и удивился. – Какое неприятное слово – рикошет.

– Думаю, что мы услышим еще худшие слова, – холодно сказал Дюфур.

Из тумана доносились голоса, но гораздо глуше, чем раньше.

– Дайте нож разрезать веревки, он сильно запутался, – послышался голос Ньюстэда. – Все равно, давайте садовый, только скорей.

– Что там? – крикнул Мэро, но никто не ответил.

Была слышна возня, потом слабый крик, и Бодэн сказал сердито:

– Да не спотыкайтесь вы, ради бога!

Разговоры надолго стихли, и было слышно только хриплое дыхание взбирающихся по откосу людей.

– Пусть отдохнет, – сказал садовник где-то совсем рядом.

– Ничего, идите, – ответил Бодэн.

Мэро уже различал темное пятно, медленно подымавшееся по склону.

– Держите крепче, Матвей, – попросил Эрве.

– Ничего, – ответил глухо садовник. – У меня руки липкие от крови, я не выпущу.

Наконец они поднялись к самой ограде, и Мэро увидел у них на руках окровавленного человека в синем брезентовом костюме. Лица его нельзя было различить из-за спутанных и слипшихся волос. Серые брюки Ньюстэда были измазаны кровью.

Человека быстро внесли в комнату Эрве и положили на кровать. Бодэн, исполнявший в обсерватории обязанности не только библиотекаря, но и врача, раздел неизвестного, промыл раны и наложил перевязки. Ему помогал Ньюстэд.

В комнатах запахло лекарствами. Полы были затоптаны, на них стояли лужи от растаявшего снега.

Обитатели обсерватории собрались в столовой. Они смотрели на капли густой крови, тянувшейся наискось по ковру, и ждали Ньюстэда и Бодэна. Те долго не шли.

У Мэро дрожали руки.

– Надо бы истопить камин, Тереза, – сказал он служанке, но она, сидя в углу, что-то шептала, должно быть молилась, и не расслышала просьбы Мэро.

Первым вошел Ньюстэд. Он подошел к камину и начал греть руки, деланно засмеялся и набил трубку.

– Ну вот, – сказал он, – война наконец добралась и до нас. Поздравляю с ней всех собравшихся.

– Что с ним? – спросил Мэро.

– Он, должно быть, умрет, – ответил Ньюстэд. – У него переломано все, что может быть переломано у человека. Прыжки с парашютом в горах – отчаянное дело. Он летел из Франции в Мадрид.

– Военный? – спросил Дюфур.

– Нет, он поэт.

– Я не настроен шутить, – сказал ледяным голосом Дюфур.

– А я вам говорю, что это так, – рассердился Ньюстэд. – Ураган перевел машину в штопор, он успел выброситься с парашютом. Все остальное понятно.

– Главное никому не понятно, – пробормотал Дюфур. – Вы что-то упомянули насчет войны.

Вошел Бодэн. Он снял очки и посмотрел на всех красными близорукими глазами.

– Нужен настоящий врач, – сказал он растерянно. – Я слишком мало знаю, чтобы спасти этого человека.

Решение было принято тут же. Машина пойдет в городок за врачом. Поедут шофер и Ньюстэд. Бодэн и Мэро должны дежурить около разбившегося человека. Тереза им будет помогать. Все астрономические наблюдения будут пока вести Дюфур и Эрве.

– Настоящий ученый никогда не поступил бы так опрометчиво, как Мэро и Ньюстэд, – сказал Дюфур Эрве, когда Ньюстэд уехал. – Я не уверен в том, что можно срывать многолетние наблюдения из-за бесполезной суеты вокруг этого человека. Он все равно не выживет.

Эрве молчал.

– Война, – сказал он наконец и вздохнул. – Я знаю, что астрономы никогда не будут стрелять друг в друга. А об остальном я предпочитаю не думать.

– А следовало бы подумать о том, что наша французская обсерватория находится на испанской земле, – сказал Дюфур.

Ньюстэд уехал. Снег стаял, и мокрые горы блестели под солнцем. По скалам бежала ледяная вода. Небо подымалось все выше, делалось бледнее, из пустынной долины потянуло теплом.

Шофер резко затормозил и показал Ньюстэду на красные скалы. У их подножия валялась куча железа и дерева.

– Это его машина, – сказал шофер.

Ньюстэд вышел, собрал в тени от скалы слежавшийся снег и очистил им от своих брюк бурые пятна крови.

– Едемте, – сказал он шоферу. – Как бы наши старики его не утомили.

Они легко понеслись вниз. Казалось, что машина сорвалась, тормоза лопнули и они не смогут остановиться до самого городка. На поворотах машину заносило, и она с размаху сбрасывала в пропасти груды щебня.

Ньюстэд был доволен. Он пел. Земля приближалась. Он уже слышал запах дыма из нищих очагов. На голых склонах паслось маленькое стадо коз. Его сторожила высокая старуха в черном платке. Она стояла у дороги и даже не оглянулась, когда машина промчалась рядом.

Городок был пуст и тесен. Толпа худых крикливых женщин окружила машину. Женщины говорили все сразу. Ньюстэд плохо знал испанский язык. Он с трудом разобрал из их слов, что негодяй доктор бежал с семьей в Уэску, а в городе остался только аптекарь.

Одна из женщин держала за руку девочку в черном платке, таком же, как у всех женщин и у старухи, сторожившей коз. Девочка исподлобья смотрела на Ньюстэда, а женщина о чем-то просила, вытирая глаза грязным фартуком.

– Чего она хочет? – спросил Ньюстэд шофера.

– Она просит, чтобы мы взяли эту девочку с собой. У девочки фашисты недавно убили отца. Под Уэской. Она говорит – в горах не так опасно, они туда не придут.

– Кто «они»?

Шофер пожал плечами:

– Понятно.

– Мы не можем ее взять, – сказал Ньюстэд. – Кто с ней будет возиться? И так у нас раненый человек.

Шофер молчал.

- Кто с ней будет возиться? – повторил Ньютэд.
- Мое дело – руль, а ваше дело – решать все остальное.
- Ах, так?!

Ньютэд открыл дверцу машины и втащил девочку. Мать засмеялась и что-то закричала девочке, поправляя черные седеющие волосы.

Шофер дал ход. Машина рванулась вверх по улице, к аптеке. Ньютэд обернулся. Женщины махали вслед черными платками и были похожи на стаю худых птиц, бесшумно хлопающих крыльями. Девочка упрямо смотрела в спину шофера глазами, полными слез.

– Скажите ей, чтобы она не боялась, – сказал шоферу Ньютэд. – Когда все пройдет, мы ее привезем обратно.

Шофер кивнул головой.

Аптекарь спал. Ньютэд попросил разбудить его. Вышел желтый горбун. Он сонно поздоровался и стал на скамейку за прилавком, чтобы быть выше.

Ньютэд не знал, что нужно купить для разбившегося человека. Он коротко рассказал о случившемся и попросил совета. Аптекарь удивленно посмотрел на Ньютэда и сдержал зевоту.

– У меня ничего нет. Могу поклясться. Есть немного гипса, марли и шесть ампул морфия. Это все, что я могу дать. Без врача вы не справитесь. Йод есть у вас в обсерватории. Господин Бодэн год назад купил столько йоду, что его хватит на всю республиканскую армию, а не только на одного человека из этой армии.

– Почему вы думаете, что он республиканец?

– Кто же будет лететь из Франции ночью? Вы нашли самолет?

– Нет, – ответил Ньютэд. Он не был расположен к болтовне.

– Дело не в человеке, а в самолете, – проворчал аптекарь и пошел в заднюю комнату. Он что-то бормотал там, долго копался и наконец вынес небольшой пакет.

Ньютэд попрощался. Аптекарь вышел за ним на каменное крыльцо. Серый свет стоял над городком. Снег на горах казался отсюда очень тусклым.

– А где сейчас дерутся? – спросил Ньютэд.

– Всюду, – ответил аптекарь и усмехнулся.

Обратно ехали медленно: подъем делался все круче. Девочка сидела сторбившись, уставившись круглыми, полными слез глазами в спину шофера. Ньютэд не знал, как ее утешить, молчал и насвистывал.

Снова встретилась высокая старуха около маленького стада коз. Она, нахмурившись, оглянулась на машину.

Выцветшее небо простиралось над головой. Горы были рыжие, покрытые голыми дубовыми кустами. Долину затянуло сероватым дымом.

Ньютэд впервые понял, как ему надоело жить в обсерватории, хотя бы и так близко от звездного неба. Хорошо бы очутиться в Мадриде, где люди живые, шумные и упорные, где они дерутся за очень понятные вещи! Может быть, все это будет длиться очень недолго, но что с того?

– Что с того? – вслух повторил Ньютэд.

Девочка не оглянулась. Она сидела все так же неподвижно.

«Большое горе», – подумал Ньютэд, глядя на нее. Он хотел потрепать ее по плечу, но не решился.

Отсюда, из долины, обитатели обсерватории показались ему мертвецами, которые только притворяются живыми и спорят, говорят, едят и наблюдают звезды, как заводные куклы. Особенно раздражал Дюфур – ходячий часовой механизм с изысканным звоном. Тихоня Эрве казался неплохим человеком, но жизнь в обсерватории вышелушила его и иссушила, как мумию.

– Один Мэро, – пробормотал Ньюстэд, – но он так стар, что может умереть от сильного порыва ветра.

За одним из поворотов, откуда уже была видна обсерватория, шофер остановил машину.

– Теперь не стоит торопиться, – сказал он. – Посмотрите на мачту.

Ньюстэд всмотрелся и увидел флаг. Он был приспущен до половины. Эта традиция была близка Ньюстэду. Сын морского капитана, любителя астрономии, он хорошо знал морские нравы, и приспущенный флаг – знак траура – всегда вызывал у него ощущение несчастья. С давних пор многие обсерватории Европы придерживались этого морского обычая.

Ньюстэд понял, что опоздал.

Ворота обсерватории были закрыты. Несмотря на гудки, никто не вышел навстречу. Шофер вылез из машины и сам открыл ворота.

Ньюстэд взял девочку за руку и повел ее к Терезе.

– Как тебя зовут? – спросил он ее по дороге.

– Си, – шепотом ответила девочка.

– Сесиль? – переспросил Ньюстэд.

– Си, – повторила девочка, и из глаз ее потекли слезы.

Больше Ньюстэд ничего не спрашивал.

Заплаканная Тереза встретила девочку спокойно, будто только ее и ждала. Она вытерла руки о передник и, присев на корточки, начала разматывать на девочке рваный черный платок. Она заговорила с ней своим грубым, мужским голосом. Девочка отвечала шепотом, но не плакала. Ньюстэд ушел, недоумевая, – он так и не понял, в чем заключена эта чертовская тайна общения с детьми.

Он прошел в комнату Эрве, где лежал умерший. В столовой зеркало было завешено старым холстом.

В коридоре он встретил Матвея. Садовник нес только что срезанные ветки сосен и тиса с темной листвой. Они вместе вошли в комнату.

Человек лежал, вытянувшись, под простыней, на кровати. Волосы его были причесаны, и через лоб тянулся запекшийся шрам.

Матвей разбросал по полу хвою. На столике горели две восковые свечи. Пламя трещало. Шторы были спущены.

– Это зажгла Тереза, – сказал тихо садовник. – Женщины знают, как обрывать умерших.

Ньюстэд посмотрел на лицо неизвестного. Оно было молодым, но очень измученным. Две глубокие морщины, как шрамы, лежали на щеках. Выражение губ было таким, будто человек кого-то вполголоса звал.

– Вот и смерть погостила у нас, сударь, – сказал Матвей. – Профессор Эрве приказал вырыть могилу около ограды, под старым тисом.

– Где Мэро? – спросил Ньюстэд.

– Он у себя. Он очень расстроен. Человек умер у него на руках.

Ньюстэд медлил идти к Мэро. Вошел Эрве.

– Ньюстэд, – сказал он и криво улыбнулся, – вот видите, жизнь впервые ворвалась в нашу обитель, но и то под видом смерти.

– Не только, – ответил Ньюстэд. – Я привез из города маленькое существо. Оно нуждается в помощи.

– Неужели мы еще кому-нибудь нужны? – спросил Эрве с искренним удивлением.

Мэро сидел в своей комнате за письменным столом. Он сжимал виски слабыми руками – хотел сдержать слезы.

Стол был пуст. Он не написал за этим холодным лакированным столом ни одной строчки любимому человеку, здесь он писал только вычисления и вежливые письма астрономам. Ни любимых, ни любящих не было. Нет, они были когда-то, но Мэро забыл о них. Должно быть,

они давно уже умерли, как умер этот человек. «Нельзя забывать любящих, лучше их убить, чем забыть», – говорила его мать, и Мэро теперь понял, что она была права.

Человек умер во время дежурства Мэро. Он почти не говорил. Он все время стонал и один только раз окликнул Мэро.

– Отец, – сказал он, и Мэро вздрогнул от этого забытого слова, – возьмите в сумке письмо и бумаги... Прочтите... Отправьте... Если придет, вы расскажете... Я думаю только о ней, бесполезно думать о другом... Совсем бесполезно...

Мэро нашел письмо и бумаги. Человек затих, потом начал бредить. В бреду он пел. Это было очень страшно, и Мэро позвал Бодэна.

Когда Бодэн пришел, человек был уже мертв.

Письмо и бумаги Мэро забрал к себе и все никак не мог дочитать до конца, – множество мыслей возникало после каждой прочитанной строчки.

Человека похоронили в сумерки. Все стояли молча, обнажив головы, пока садовник и Ньютэд засыпали могилу мокрым щебнем. На могиле поставили маленький деревянный столб с дощечкой. На ней Бодэн написал:

Виктор Фришар, поэт, француз. Разбился во время перелета из Франции в Мадрид. Пусть к именам людей, отличавшихся мужеством, прибавится еще одно имя неизвестного нам, но благородного человека!

Астрономы и сотрудники французской обсерватории Сиерра дель Кампо (Пиренеи)

После похорон астрономы собрались в лаборатории. Ньютэд созвал всех, чтобы сделать, как он сказал, чрезвычайное сообщение. Все были утомлены и молчали, – прожитый день стоил нескольких лет прежней невозмутимой жизни.

– Профессор Мэро, – сказал Ньютэд и встал, этим он подчеркнул важность своих слов, – передал мне бумаги и письмо, оставшиеся после умершего. Перед смертью он просил огласить их и отправить по назначению. Я выполняю волю неизвестного мне человека с тем большей охотой, что содержание этих бумаг, – Ньютэд положил на них тяжелую руку, – заставляет меня отказаться на время от работы в обсерватории и спуститься в долины, где вот уже пять месяцев, как вам известно, свирепствует гражданская война.

– Я знал, что вы филантроп, – заметил Дюфур.

– Это делает честь вашей проницательности, – спокойно ответил Ньютэд. – Человек, которого мы пытались спасти и только что похоронили, – французский поэт. Поэты – братья астрономов. Прекрасное содержание окружающей жизни проявляется не только в законах звездного неба, но и в законах поэзии.

– Понятно, – пробормотал Дюфур. – Читайте письмо!

– Если бы вам это было понятно, – ответил Ньютэд, – то вы бы не занимались сейчас вычислением орбиты планеты за номером тысяча двести двенадцать. Диаметр этой планеты не больше километра. Я считаю эту работу такой же ненужной, как подсчет пылинок на земле.

– Спасибо! – воскликнул Дюфур и деланно засмеялся. – И после этого вы считаете себя ученым?

– Да, – грубо ответил Ньютэд. – Вы – Дюфур, я – Ньютэд, и мы никогда не поменяемся мозгами. Но я еще не окончил. Поэты и писатели Франции приобрели несколько аэропланов и оружие для помощи испанской Народной армии. Фришар вызвался перебросить эти аэропланы в Мадрид. Причина его гибели известна. В разбитом самолете осталось оружие – винтовки, патроны и пулеметы.

– Очень хорошо, – сказал Эрве, – но мы-то ими не воспользуемся.

– Письмо адресовано в Бриэк, женщине, – сказал Ньютэд, как будто не слыша всех замечаний. – Вряд ли нужно называть ее имя. Я читаю письмо.

Это письмо отправят тебе, если я умру. Ты помнишь последний день в Бриэке, когда я уезжал, помнишь черные скалы и запах старых рыбачьих сетей? Дул очень холодный ветер с океана, и у тебя зябли маленькие милые руки. Мы были одни в нищем городке. Мы были тогда совсем одиноки с тобой, и ты была для меня не только любимой, но и матерью, сестрой, самым преданным другом.

Через час я вылетаю в Испанию. Я храню в своей памяти твои слова о том, что ты не могла бы любить ничтожного человека. Для иных людей трудно сохранить достоинство в наше время, когда низость, вооруженная пулеметами и фосгеном, начала схватку со всем лучшим, чем жило и будет жить человечество. Для иных лучше бежать на край земли и спрятаться в теплые норы, размышляя о том, что жизнь дается только раз и ее надо прожить для себя. Но во имя того, что она дается только раз, что она неповторима и замечательна, – во имя этого мне легче идти навстречу опасности с открытым лицом и завоевать эту жизнь или умереть за нее, чем писать красивые слова и страдать от дурного запаха собственной совести.

Ты поймешь меня, я знаю. Я не умею утешить тебя. Я люблю землю, потому что ты живешь на ней, люблю воздух, потому что он прикасается к твоему лицу, люблю каждую травинку, на которой останавливаются твои глаза, люблю каждый твой след на сыром песке и ночную тишину, потому что тогда я слышу твоё дыхание, – и вместе с тем я лечу умирать. Я почти уверен в этом.

Прощай! Ты Расскажи о своем горе рыбачкам, если у тебя хватит сил рассказать. Никто лучше этих простых, рано постаревших женщин не сможет понять его, – ведь у них нет ни одной семьи, где бы не было горя.

Ньюстэд окончил читать и, наклонив голову, перебирал на столе бумаги. Все молчали. Эрве начал задыхаться, судорожно вынул платок и высморкался.

– Хорошо, что вы прочли письмо, – тихо сказал Мэро. – Хорошо, я знаю... Но позвольте мне уйти, я не могу дольше оставаться.

Мэро вышел. Дюфур сидел с потухшей папиросой во рту.

Мэро заперся в своей комнате, подошел к окну и заплакал. Колочая тяжесть в груди причиняла боль. Мэро думал, что она растворится от слез, стекавших по его желтым щекам, но она все усиливалась, и Мэро уж ничего не видел за окном, – звезды мутными пятнами расплзались по стеклу.

Ему было жаль умершего, жаль молодую осиротевшую женщину, жаль себя, Эрве, всех, кто так бесприютен, затерян в этом громадном и неласковом мире.

Поздно вечером Мэро вошел в комнату Ньюстэда. Норвежец стоял у стола и рвал какие-то бумаги.

– Ньюстэд, – сказал Мэро, – я уезжаю. Я хочу сам отвезти письмо в Бриэк. Я, как и вы, на время бросаю обсерваторию.

– Что ж, – ответил Ньюстэд, – ведь у вас нет ни сына, ни дочери... Это понятно.

Мэро с благодарностью посмотрел на Ньюстэда. Ньюстэд обнял его за плечи и сказал:

– Мы никогда не должны забывать друг друга.

– Конечно, – ответил Мэро.

У себя в комнате Мэро увидел на столе последние астрономические вычисления и тщательно спрятал их в ящик.

Созвездие Гончих Псов играло далеким светом за стеклами, и Мэро, взглянув на него, подумал, что Бриэк лежит как раз в той стороне.

Утром ни Ньюстэд, ни Мэро не уехали. На рассвете в обсерваторию прибежала из города измученная женщина, мать девочки. Голосом, хриплым от волнения, она рассказала, что горо-

док занят небольшим отрядом фашистов, что аптекарь донес командиру отряда, будто в обсерватории скрывается раненый человек, летевший из Франции в Мадрид, и утром отряд выступает в обсерваторию.

– Они думают, что он вез секретные бумаги, и хотят его расстрелять, – сказала женщина. – Так хвастались солдаты.

– Единственная секретная бумага погибшего у меня, – сказал Мэро. – Я ее никому не отдам.

Женщина посмотрела на Мэро с удивлением. Она не поняла слов этого старика.

Снова был созван военный совет.

– Что же делать? – спросил Бодэн.

– Не выдавать его, даже мертвого, – ответил Ньюстэд.

Дюфур не удержался.

– Придется защищать от них звезды, – сказал он, усмехаясь. – Их много? – спросил он женщину.

– Тридцать человек.

– Все равно, – сказал Ньюстэд. – Начнем действовать.

– Конечно, – согласился Дюфур. – Для астрономов не составит труда разбить эту воинскую часть. Тем более что в ней нет наших собратьев по науке, и потому даже Эрве может участвовать в схватке.

Через час шофер и Ньюстэд привезли на машине двадцать винтовок, патроны и пулемет. Они подобрали их среди обломков самолета. Несколько винтовок было испорчено, пулемет тоже. Шофер к полудню починил его и хотел испробовать, но Ньюстэд запретил пробу, – звуки выстрелов могли заставить отряд насторожиться раньше времени.

Ньюстэд распорядился невозмутимо. По молчаливому соглашению он был избран начальником вооруженной обсерватории. Вопреки его ожиданиям, никто не сомневался в необходимости дать отпор отряду, подымавшемуся из долины. Непонятное веселье охватило обитателей обсерватории, – очевидно, то возбуждение, какое появляется у человека во время большой опасности.

План обороны был прост. Он был рассчитан на то, чтобы ошеломить нападавших и взять их под перекрестный огонь. Это, по мнению Ньюстэда, должно было привести к бесспорной победе.

Невдалеке от обсерватории, на скале, установили пулемет. Со скалы было удобно обстреливать поворот дороги. У пулемета лежал шофер. Около него дежурили с винтовками садовник и Ньюстэд. Садовник замаскировал пулемет и скалу сухими дубовыми ветками.

Дюфур наблюдал за дорогой в искатель малого телескопа. За пятнадцать километров были хорошо видны ее белые безлюдные изгибы.

Вход в обсерваторию был забаррикадирован тяжелыми ящиками от инструментов.

Бодэн, Эрве и Мэро сидели на скамейке около ограды, откуда им был виден тот же поворот дороги, что и Ньюстэду, засевшему на скале. Эрве впервые за многие годы закурил. Три старика тихо беседовали, и только по сухому блеску их глаз можно было догадаться, что они взволнованы.

Винтовки стояли поодаль, прислоненные к стене. Был солнечный день, с гор дул прохладный ветер, и белый петух взлетел на ограду и кричал, хлопая крыльями. Было слышно, как в кухне Тереза громко беседовала с горожанкой и говорила, что старики, пожалуй, еще могут постоять за себя.

Никто из астрономов не верил, что бой действительно будет. Мэро следил за тенью от мачты. Она сначала закрыла одну винтовку, потом другую и уже подходила к третьей.

– Может быть, они повернули обратно? – спросил Бодэн, и в голосе его послышалась тревога.

– Эй, вы, – сказал Мэро, – старый наполеоновский гвардеец! Потерпите еще час-другой, не огорчайтесь!

Мэро смотрел на тень мачты. Она закрыла уже третью винтовку. Что-то темное поползло рядом с тенью. Мэро поднял голову и увидел флаг. Он подымался вверх, раскрываясь и шурша. Это Дюфур давал знать Ньютэду, что на дороге замечен отряд.

– Наконец-то старина Дюфур высмотрел то, что ему нужно, – сказал Бодэн.

Он вздрагивал от волнения. Быстро подошел Дюфур.

– Двадцать пять! – прокричал он возбужденно. – Двадцать пять королевских молодчиков! Впереди идет командир, рыжий, как огонь.

– Почему вы думаете, что это командир? – спросил Мэро.

– С каких пор вы начали сомневаться в точности наших приборов? Я видел нашивки на его воротнике.

– Ну, в таком случае мы не спорим, – сказал, улыбаясь, Эрве.

– Они будут на повороте через двадцать минут, – сказал Дюфур.

– Если не ошибаюсь, – пробормотал Бодэн, – тот способ обстрела, который предложил нам Ньютэд, носит название флангового огня?

– Совершенно верно, – подтвердил Дюфур. – Они попадут в засаду. Но вы подумали, что нам делать, если они все же прорвутся через ограду?

– Они не прорвутся, – сказал Мэро, – или мы умрем.

– Надо предвидеть всё, – возразил Эрве. – Мы можем отступить на наблюдательные вышки. Их три, и все они построены из гранита. Посмотрите: лесенка, балкончик, железная дверь. Два узких окна заменят бойницы. Других окон нет.

– Замечательные боевые сооружения! – воскликнул Бодэн. – Как мы раньше не видели этого?

– Это будет лучше всего, – сказал Мэро. – По крайней мере, мы погибнем, как принято писать в военных приказах, на боевом посту, около своих спектрографов и зеркал.

Все засмеялись. Никто не верил в возможность настоящего боя.

– Но в общем, – сказал Дюфур, – пора идти за Терезой.

Он позвал Терезу. Ее появление прекратило шутки. Тереза была в короткой юбке, а грудь она крест-накрест туго перевязала черным платком. Она осмотрела винтовки, выбрала себе самую новую и сказала:

– Девчонкой отец учил меня стрелять по коршунам. Они часто воровали у нас цыплят.

– Ну, друзья, – сказал Бодэн, – давайте приготовимся.

Старики взяли винтовки. Каждый из них уже давно выбрал себе выступ ограды, из-за которого собирался стрелять.

Дюфур посмотрел на часы.

– Очень скоро, – сказал он шепотом.

Все, кроме Мэро, заняли свои места. Мэро решил подойти к ограде в последнюю минуту, – ему было трудно стоять.

– Как будто видна пыль, – таинственно сказал Бодэн.

– Посмотрите, Тереза.

– Недавно стаял снег, – ответила так же тихо Тереза. – Откуда же быть пыли?

Мэро потрогал карман. В нем зашуршало письмо в Бриэк. Он предупредил всех, что письмо у него, и потому был спокоен.

– А! – тихо вскрикнул Дюфур.

Мэро торопливо подошел к своему выступу. Все, не двигаясь, смотрели на дорогу. Из-за поворота медленно выходили солдаты. Они несли винтовки на ремнях и шли вразброд.

– Когда будете нажимать спуск, старайтесь не дышать, – предупредила Тереза.

– Вы настоящая маркитантка, Тереза, – ответил Дюфур. – Но почему же Ньюстэд так долго молчит?

– Наш шофер был на фронте. Он знает, когда начинать.

Дорога уже чернела от солдат. Они остановились, пропуская вперед офицера, и в ту же минуту торопливо забил и залаял пулемет Ньюстэда. Желтые дубовые листья полетели вихрем. Горное эхо перебрасывало стук пулемета со скалы на скалу; он отскакивал от отвесных стен, шарахался с размаху на дно пропастей, падал, подымался, звучал то глухо, то нарастал до оглушительного треска, будто стальные молотки били по пустым паровым котлам. Щебень и пули свистели по дороге. Солдаты бросились за каменный парапет. Офицер что-то кричал, закрывая рукой голову, потом упал и больше не двигался. Дюфур насчитал на дороге десять упавших, но в это время первая пуля звякнула об ограду и с тихим воем прошла рикошетом через сад, сбив несколько веток со старой сосны.

– Друзья, – крикнул Бодэн, – не зевайте!

Солдаты, лежавшие за парапетом, не были видны Ньюстэду, но их легко было обстреливать из-за ограды. Первым выстрелил Бодэн. Тереза щурилась, у нее из-под платка выбилась прядь седых волос, и она, сердясь, судорожно и часто ее поправляла. Дюфур долго целился и стрелял спокойно. Эрве старался попасть в парапет: от удачных выстрелов над ним взвивались белые струйки пыли. У Мэро после первого же выстрела заболело плечо от удара прикладом, но он продолжал стрелять, почти не целясь.

Часть солдат перенесла огонь на ограду. Все чаще щелкали пули. Белый петух, испуганный выстрелами, с кудахтаньем взлетел на сосну, сорвался и тяжело ударился о землю – он был разорван пулей.

Огонь учащался. Мэро слышал за своей спиной звон стекла. Пули били по окнам второго этажа. Он подумал, что лаборатория в первом этаже, и это очень хорошо, – все приборы останутся целы.

Пулеметные пули прошли по верхушке ограды и запорошили пылью глаза.

– Все по пулеметчику! – приказал Бодэн. – У них один пулемет, больше нет. Как они успели его поставить!

Мэро стрелял, почти не сознавая, что происходит. Очень трудно было вставлять обойму в винтовку. Он несколько раз больно зацемил себе кожу на ладони, из пальца текла кровь.

Он видел, как солдаты медленно отползли вниз по склону, прячась за камнями. Судя по выражению их лиц, они что-то кричали и ругались. Он хорошо видел ноги пулеметчика – очень худые и кривые, в грязных обмотках. Потом он увидел, как пулеметчик привстал, упал на бок и покатился по крутому склону, точно зеленый мешок. Он докатился до дубового куста и застрял в нем.

Пулемет затих. Теперь работал только пулемет Ньюстэда. Солдаты вскочили и побежали, пригибаясь к земле. Они прыгали вниз, с камня на камень, некоторые бросали винтовки.

Мэро видел, как Ньюстэд и шофер быстро спустили пулемет со скалы на дорогу, бегом прокатили его до поворота и залегли. Снова пулемет задрожал и залаял, и по дороге понеслись длинные ленты пыли. Ньюстэд махал рукой.

– Поздравляю вас, старики, – сказал Дюфур. – Они отступают.

– Значит, это конец? – спросил Эрве.

– Да, мы, кажется, ловко отделались, – ответил Бодэн.

Пулемет стих. Раздался последний одинокий выстрел. Это еще стреляла Тереза. Эрве потряс ее за плечо. На дороге видно было всего несколько солдат, бежавших вниз. Они исчезли за поворотом.

Мэро бросил винтовку и выпрямился. Солнце сверкало над головой. Тишина плыла над горами. Мэро вздохнул. Воздух был напоитан запахом листьев и корней.

Снова стало слышно, как ручей шумит на дне пропасти. Амфитеатр гор, залитых солнцем, сверкал и переливался красками поздней осени, и Мэро улыбнулся. Он знал: у него есть дочь где-то там, в Бриэке, есть родная душа в этом мире, есть друзья – астрономы, старые, но храбрые люди. Он чувствовал себя так, будто только что завоевал право на жизнь, на обладание всем миром, шумевшим внизу, в когда-то чуждых долинах.

Тереза улыбнулась Мэро. Он обнял ее, и они расцеловались, как старики – брат и сестра. Было слышно, как Ньюстэд пел на дороге какую-то норвежскую песенку.

В тот же день остатки фашистов были выбиты одним ударом из городка отрядом басков, и Мэро и Ньюстэд тотчас уехали. Их провожали очень шумно, но никто не мог скрыть грусти этого прощания.

Снова тишина завладела обсерваторией, и, как всегда, звездное небо сверкало над ней по ночам и до рассвета прислушивалось к тихим голосам астрономов, медленным шагам садовника и к плеску старого ручья на дне ущелья.

1936

Северная повесть

Часть первая

Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды.

Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как «чудный хлад сковал Ботнические воды». Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном «певце Финляндии», и завидовали его спокойной славе.

Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне.

Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых «пироскафов», грязнивших чистые морские горизонты: «Все равно пар никогда не справится с океаном».

Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины. Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера – неразговорчивые и честные люди.

Зимой корабли вмержали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегающая во двор проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся частях и слышали шум ветра в толстых реях.

К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища.

Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели. Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу.

Время было неясное и беспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади.

Командир Камчатского полка Киселев, бывший забулдыга гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру.

Киселев был человек самомнительный и не терпел своеволия. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», – говорил он хвастливо.

Передавали, что в 1814 году, после занятия Парижа, он сидел как-то в одном парижском кабаке. Вошли пятеро французов. Они потребовали пять пустых стаканов и одну бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе один пустой стакан и пять бутылок шампанского, выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабака под громкие рукоплескания пьяных посетителей.

О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпиграмму:

Поля сражения для труса безопасны,
Он, славу бранную переменяв на ром,
Громит врага за ломберным столом
Отменно и всечасно.

Полковым адъютантом был немец, заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки.

Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по несколько часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами.

Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутах плечи шинели и кричал заикаясь:

– Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука.

Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались с ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог, но у заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги.

Мерк считал себя человеком прямым, правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу – это срам», «Отучитесь, наконец, поручик, трясти ногой под столом».

Финляндия была покорена недавно. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами.

Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли, зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях.

В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат.

Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться.

На допросе Бестужев сказал:

– Честь свою я почитаю выше присяги.

Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке его в Камчатский каторжный полк.

Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгрунд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Мариегамна. На караул нужно было ходить через узкий замерзший пролив.

На маяке жил только сторож – старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки.

– Ты не бранись, дед! – кричал Тихонов простуженным голосом. – Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?

Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная.

– Эх, беда, беда! – говорил, сокрушаясь, Тихонов и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол.

Швед кивал головой.

– Понимаешь, значит? – спрашивал Тихонов. – Да и как не понять, когда мы люди простые, с малолетства к работе приучены. Ты сторожишь, и я сторожу. Только чего я сторожу – об том один Господь Бог ведает да его высокородие полковник Киселев.

– О-о-о! – говорил швед.

– Вот то-то что «о-о-о»! – сердито отвечал Тихонов. – Злодейский командир наш Киселев. Один во всем полку стоящий человек – прапорщик Бестужев, мой полуротный командир, а твой постоялец.

Бестужев снимал комнату в Мариегамне у маячного сторожа. Старик все дни проводил на маяке. В Мариегамн он возвращался только по воскресным дням. Прислуживали прапорщику жена старика, седая старушка, и дочь Анна – темноволосая застенчивая девушка, бегавшая на лыжах как мальчик.

Анна недавно кончила школу в Стокгольме, а теперь жила у родителей, помогала матери и все вечера напролет читала.

– Бестужев... – прошамкал старик, улыбнулся и похлопал Тихонова по шинели, вздвнувшейся горбом на спине. – О-о-о! Бестужев!

– Верно, дед, – сказал Тихонов и с удовольствием вытер лицо шершавой ладонью. – Ничего не скажешь, наш полуротный – душа человек!

Тихонов выкурил трубку крепкого табаку и, гремя ружьем и тесаком, вышел из сторожки. Он захлопнул дубовую черную дверь, зажмурился от колючего снега, ударившего в глаза, и перекрестился.

– Ну и морок, упаси господи!

Тяжелая январская ночь стояла вплотную около тускло освещенных окон сторожки. Маяк не горел: зимой он был не нужен.

Тихонов ходил по берегу с ружьем на плече, часто останавливался и стоя дремал.

Изредка в заливе лопался от мороза лед. Унылый гул долго катился к берегам. Тихонов встряхивал головой, чтобы прогнать сон, ругался и хрипло кричал:

– Слуша-а-ай!

Кричал он по привычке. Вблизи часовых не было, и никто на его крик не отзывался. Только старый швед в сторожке каждый раз после этого крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращался к столу и продолжал читать толстую желтую Библию.

– Слуша-а-ай! – протяжно кричал Тихонов.

Ветер стихал и точно прислушивался. Трескался лед, снег шуршал о каменную стену сторожки и скрипел под сапогами у солдата. Солдат кашлял и сплевывал. Звуки эти давно наскучили ветру, и он, немного подождав, снова начинал сносить снег со льда к берегам и наваливать его длинными сугробами.

Тихонову надоело кричать. Он замолк. Ветер тоже стих. Вдруг в наступившей тишине, где-то очень далеко, на льду, солдат услышал глухой и медленный стук. Он поправил тесак и прислушался.

Стук приближался. Солдат осторожно прилег за камнями. Стук уже был слышен ясно, как будто по льду шел человек в тяжелых железных сапогах.

Солдат торопливо перекрестился, положил ружье на камень и прицелился в темноту, где слышались шаги. На льду появилось темное пятно. Оно медленно двигалось к берегу.

– Стой! Кто идет? – негромко окликнул Тихонов. Но никто не ответил. Тихонов всмотрелся и увидел двух человек. Они шли молча, не останавливаясь, как глухие.

– Стой! – снова крикнул Тихонов и хотел было выстрелить, но передний человек споткнулся о прибрежные камни и упал.

Спутник его пытался поднять упавшего за плечи и посадить, но человек снова тяжело, как мертвый, падал на лед.

Тихонов взял ружье на руку и осторожно подошел к лежащему.

– Кто такие? – спросил он сурово. – Отвечай – без утайки.

– погоди, служивый, – сказал из темноты усталый голос. – Подсоби внести его в дом: человек без памяти.

Тихонов взял лежащего за плечо и отдернул руку: под плащом он почувствовал твердый офицерский эполет.

– Офицер? – спросил он шепотом.

– Офицер.

– А ты кто?

– Я матрос.

– Есть приказание, – сказал вполголоса Тихонов, – задерживать всякого, какого бы ни был звания, и представлять его высокородию полковнику Киселеву. Откуда идете и по какой надобности?

– Замерзает человек! – сказал с отчаянием матрос. – Подсоби внести в дом, Христа ради. Успеешь еще допытаться.

Тихонов смолчал. Вместе с матросом он поднял офицера и внес его в сторожку.

Старый швед встал, захлопнул Библию и молча смотрел, как офицера укладывали на пол около печки. Потом он не торопясь достал из стенного шкафчика штоф с водкой, налил ее в синий стакан и, как обычно что-то бормоча и сердясь, поднял офицеру голову и влил ему водку в рот. Водка разлилась по грязному мундиру.

Офицер вздохнул, открыл глаза, увидел Тихонова и порывисто сел.

– Солдат? – спросил он и схватился рукой за грудь. – Куда мы вышли, служивый?

– Аландские острова, ваше благородие, – ответил Тихонов. – Разрешите спросить – откуда идете и по какой надобности?

Офицер усмехнулся.

– Идем мы, – ответил он медленно, – из самого Петербурга. В Швецию. А надобность у нас простая, братец: спасаемся от царской петли. Понял?

– Так точно, понял, ваше благородие.

– Что же ты думаешь делать?

Тихонов молчал. Он вытер нос мокрым рукавом шинели и долго мигал воспаленными от ветра глазами.

– Ну? – спросил офицер.

– Ваше благородие, – умоляюще сказал Тихонов, – здесь все доподлинно известно, караулы стоят по всем островам. Все равно не пройдете.

– Что вам известно?

– Насчет бунта. Прапорщик Бестужев нам объяснял.

Тихонов помолчал, помялся и спросил:

– Разрешите узнать, ваше благородие: был ли в деле лейб-гвардии Московский полк?

– Был. На стороне мятежников. Его расстреляли картечью.

Тихонов сел на корточки около печки и задумался.

– Эх, беда, беда! – сказал он, ворочая в печке дрова. – Брат мой младший в том полку служил. Неужто убили?

– Свободно, – ответил матрос. – Их в Неве сколько утопили, московцев, – не счесть!

– Слушай, солдат... – сказал офицер.

Тихонов сидел все так же, уставившись на огонь.

– Подымались мы за правое дело. За вольность народную, за счастливую солдатскую долю. Царь Николай – тиран. Он слезами затопит Россию; засечет ее насмерть. Наше дело проиграно, но семена брошены и взойдут. Не ты, так внуки твои увидят бесслезную жизнь и нас за нее поблагодарят. Понял?

– Понял, ваше благородие, – глухо сказал Тихонов. – Что ни делай, а правду в кандалы не забудешь.

Офицер встал, запахнул плащ и надел простую крестьянскую меховую шапку. Несмотря на жару в сторожке, в лице офицера не было ни кровинки. Он крепко взялся дрожащей левой рукой за стол и сказал матросу:

– Ну, Пахомыч, пойдем. Ночь еще долгая, до света успеем отойти на пять выстрелов от островов. Места здесь опасные.

– Поесть бы вам надо, Николай Иваныч, – сказал матрос. – Лица на вас нету.

Офицер махнул рукой и нетвердо пошел к двери. Матрос пошел за ним следом.

Тихонов вскочил.

– Стой, ваше благородие! – закричал Тихонов отчаянным голосом и бросился к офицеру.

Тот быстро обернулся. Матрос схватил Тихонова за руки.

– Пусти! – крикнул Тихонов и вырвался; слезы текли по его обветренному растерянному лицу.

Трясущимися руками Тихонов начал развязывать свою солдатскую сумку, оборвал ремешки и вытащил краюху черного хлеба и кусок сала, завернутый в чистую тряпку.

– Возьми, ваше благородие, – сказал он, задыхаясь, и сунул хлеб и сало офицеру. – Возьми от всего солдатского сердца. Не обижайся.

Тихонов упал на колени и поклонился офицеру в ноги.

– Что ты, что ты! – растерянно сказал офицер и начал подымать Тихонова. – Разве можно? Встань.

Тихонов тяжело поднялся. Офицер притянул его к себе, и они поцеловались. Матрос похлопал Тихонова по плечу:

– Ну, прощай, служба!.. Помни!

Они вышли. Тихонов стоял у дверей. Ружье его валялось на полу около печки. Старый швед судорожно мял рукой небритую щеку.

Тихонов обернулся к нему, прижал заскорузлый палец к губам и погрозил большим кулаком. Швед радостно закивал – очевидно, понял.

Гулкий и близкий выстрел ударил в темноте. За ним – второй, третий, и хриплый голос закричал совсем близко:

– Часовой!

Тихонов узнал голос полкового командира. Раз в неделю Киселев проверял по ночам караулы. Тихонов не двинулся с места, только быстро оправил шинель.

Дверь распахнулась. Нагнув голову, через высокий порог переступил Киселев. За ним следом шел Мерк. Два солдата держали в сених за руки офицера в крестьянской шапке и матроса.

– Вести их! – крикнул Киселев солдатам.

Солдаты неловко ввели арестованных.

– Кто вы такой? – спросил Киселев офицера.

Офицер молчал.

Киселев распахнул его плащ. Офицер вспыхнул, выпрямился и толкнул Киселева левой рукой. Правая рука у него была забинтована. На бинтах запеклась черными пятнами кровь.

– Кто вы такой? – повторил Киселев.

– Я сын своего несчастного Отечества, – сказал офицер. – Прошу уволить меня от дальнейших вопросов.

– Вы бунтовщик, сударь, – сказал ласково Мерк. – Вы нарушили присягу и изволили поднять руку на священную особу императора.

– Пусть будет так, – ответил офицер и усмехнулся.

Тогда Киселев медленно подошел к Тихонову и посмотрел ему в глаза.

– Скотина! – сказал он и ударил солдата кулаком по мокрому лицу.

Тихонов моргал глазами.

– Домигался, дурак, прозевал государственного преступника. Дать триста шпицрутенгов! Засечь, как собаку!

Когда увели арестованных и Тихонова, старый швед погасил свечу, вышел из сторожки и осторожно, сделав большую петлю, пошел по льду в Мариегамн. Всю дорогу он кряхтел и ругался.

Бестужева произвели в прапорщики летом. Он тотчас же подал прошение об отставке. Вначале он ждал приказа из Петербурга об отставке с нетерпением, но потом начал думать об этом приказе даже с некоторым страхом и дрожью в сердце. Он привык к Мариегамну, к пустынным островам, где в ясном воздухе долго теплились вечерние зори, к хмурому и доброму народу, к своим книгам, к чистой комнате, устланной половиками из морской травы, к старухе хозяйке и к застенчивой тоненькой Анне. Сейчас, думая об отъезде в Россию, он все чаще повторял про себя навязчивые стихи:

Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну...

Анна часто бегала на лыжах на соседний остров к подруге. Просыпаясь по утрам, Бестужев слышал под замерзшим окошком свист лыж по снегу и грудной голос Анны, кричавшей матери прощальные ласковые слова.

Бестужев вставал, отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину. Снег лежал на крышах пухлыми пластами, как на елочных ветвях. Вся комната была озарена оранжевым блеском солнца и огня, шумно пылавшего в камине, и Анна – вся в снегу, слетавшем на нее с ветвей, – скользила на лыжах через поле к сосновому лесу.

Однажды Бестужев высказал желание пробежать вместе с Анной на лыжах на соседний остров. Анна засмеялась и согласилась.

Вышли они утром. В лесу было сумрачно. Сухие сосновые иглы медленно падали к их ногам. В густых чащах Анна воткнула палки в снег и остановилась.

– Смотрите, – сказала она, – может быть, на вашей родине вы никогда не увидите этого.

Зрелище, открывшееся их глазам, было исполнено необыкновенной прелести. В чащах стояло безмолвие и не было ни малейшего ветерка. Вверху же, над вершинами леса, дул слабый ветер. Он сбрасывал с ветвей снег. Сотни снежных хлопьев падали сверху, серебрясь в косых лучах солнечного света, придававшего зимним чащам таинственное освещение. Хлопья падали, задевали за ветки, рассыпались в длинные, медленно спускавшиеся к земле полосы белой пыли, шуршали вокруг, как сухой дождь.

Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной пылью. Сквозь эту пыль блестели ее губы, мокрые ресницы и зеленоватые переставшие смеяться глаза.

– Анна, – сказал Бестужев, – могли бы вы полюбить всей душой русского?

Анна быстро обернулась к нему, зацепила палками за ствол ели, и водопады мягкого снега обрушились на нее и Бестужева.

– Да, – сказала она и закрыла глаза. – Но отец мне не позволит выйти замуж за русского.

– Почему?

– Отец вас не любит.

Бестужев снял с ее руки зеленую вязаную варежку и поцеловал холодные пальцы. Она молча взяла Бестужева рукой за подбородок и долго, печально смотрела ему в лицо. Потом оттолкнулась палками и побежала сквозь заросли, оставляя за собой вихри снега. Бестужев едва поспевал за ней.

На соседнем острове они зашли в дом, показавшийся Бестужеву построенным из старого янтаря – так желты были его бревенчатые стены. Беловолосая девушка-дурнушка, подруга Анны, напоила их горячим молоком.

Анна много болтала, и смех ее был слишком звонок и беспокоен. Подруга смотрела на Бестужева и Анну с лукавой улыбкой – так улыбаются люди, наблюдая чужое счастье.

Обратно шли медленно, молча. Первые звезды загорались над заливом. Одна из них – самая яркая, сияющая нестерпимым синим огнем, – стояла очень далеко, в южной, зеленоватой части неба, прямо над верхней реей большого корабля.

Всю ночь после этой прогулки Анна проплакала. А наутро пришел отец. Он что-то отрывисто и сердито говорил ей. Потом в доме затихли. Днем Бестужев видел, как Анна вышла на крыльцо, долго стояла неподвижно и смотрела на залив, наморщив брови. Бестужев хотел окликнуть ее, но не осмелился.

Он решил, что, выйдя в отставку, никуда не уедет, останется на острове и, пренебрегая насмешками полковых товарищей и запрещением ее отца, обязательно женится на Анне.

Офицерская пирушка затянулась далеко за полночь.

Горел камин. В его багровых отблесках ночь за окнами казалась особенно синей. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и если пристально взглядеться, то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение.

Пили вяло, хотя ни Киселева, ни Мерка не было. Оба они ушли проверять ночные караулы. Пили плохо уже давно – со времени первого известия о мятеже в Петербурге.

От ломберных столов подымалась меловая пыль и першило горло. Игроки понтировали молча, посасывая потухшие трубки. Жарко горели свечи.

Поздней ночью вошел вестовой. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к Бестужеву и доложил, что его дожидается в прихожей неизвестная девица. Лицо вестового было каменное. Офицеры переглянулись, и лишь кое-кто чуть заметно улыбнулся в усы. В прежнее время этот случай вызвал бы взрыв шуток и игривых предположений, но сейчас шутки никому не приходили на ум.

Бестужев быстро поднялся и вышел. В прихожей его дожидалась Анна. Он взглянул на ее бледное лицо с прилипшими ко лбу прядями мокрых волос и спросил быстрым шепотом:

– Анна, что случилось?

Девушка задыхалась.

– Павел, – сказала она, впервые называя Бестужева по имени, – только что отец пришел с маяка. Там схватили русского офицера. Он шел через залив в Швецию. Он бунтовщик. Что делать, Павел?

– Успокойся, Анна, – сказал Бестужев и ощутил внезапный холод в сердце – предвестник безрассудных и скорых решений. Такой же холод он ощущал в бою под Бородином и в

Петербурге, когда вырвал шапку из рук великого князя. – Пойдем, мы должны стовориться совместно, что делать.

Он взял ее за руку и ввел в зал. Офицеры, увидев заплаканную девушку, встали. Только игроки не заметили прихода Анны и продолжали скрипеть мелкими и перекидывать карты.

– Господа, – сказал Бестужев, – час назад у нас на острове случилось происшествие чрезвычайное, требующее нашего совместного обсуждения.

Молодой и пылкий поручик Лобов рванулся к Бестужеву:

– Ну, говори скорее, без предисловий!

Топот сапог и звон шпор не дали Бестужеву возможности продолжать. Дверь открылась. Вошел засыпанный снегом Киселев. Он сбросил мокрый плащ на стул и обвел офицеров веселым и хитрым взглядом. Взгляд этот как бы говорил: «Вот вы увидите сейчас, какой сюрприз я вам приготовил!» За Киселевым появился Мерк. Он замешкался в передней, счищая с ботфортов снег. Мельком взглянув на Анну, стоявшую рядом с Бестужевым, он сказал с презрительной учтивостью:

– Прапорщик Бестужев, вам должно быть известно, что на офицерских собраниях полагается присутствовать лишь женам, близким семейным и невестам господ офицеров.

Бестужев вспыхнул.

– Это моя невеста, – сказал он глухо.

Анна стояла помертвевшая и спокойная.

Мерк поклонился и прозвенел шпорами. Никто не обратил внимания на его выходку; все смотрели на возбужденного полкового командира.

– Господа офицеры! – Киселев театрально поднял руку. – Малое время тому назад при обходе караульных постов около маяка Эрасгрудн мною и капитаном Мерком был задержан мятежник, бежавший из Петербурга и пробиравшийся по льду Ботнического залива в Швецию.

Наступила такая тишина, что было слышно, как поскрипывают под чьей-то ногой наваленные половицы.

– Судя по мундиру, он офицер лейб-гренадерского полка. С ним задержан второй мятежник – матрос взбунтовавшегося против императора гвардейского экипажа. – Киселев обвел глазами офицеров. Ему хотелось проверить впечатление, какое должны были произвести его слова.

Офицеры хмуро молчали.

– Имя свое этот царевыйца назвать отказался. Поскольку среди вас могут найтись люди, знающие его по прежней службе или по старому знакомству, то я полагаю необходимым предъявить вам бунтовщика для опознания.

Киселев постучал саблей о пол. Дверь отворилась, и солдаты ввели в комнату молодого офицера с обнаженной головой. На лбу его синел кровоподтек. Он провел рукой по слипшимся, спутанным волосам и внимательно посмотрел на офицеров. Взгляд этот, печальный и спокойный взгляд человека, готового к смерти, запомнился многим на долгие годы. Офицер остановился около стола и положил на него худую маленькую руку.

– Еще раз требую, – властно сказал Киселев, – чтобы вы назвали себя. Кто вы такой и как ваше имя?

– Я могу повторить лишь то, что сказал однажды, – ответил офицер. – Я сын моего несчастного Отечества и за счастье его отдам свою кровь без остатка.

Он покачнулся и судорожно впился в стол пальцами. Худая его рука сорвалась со стола. Бестужев бросился к арестованному и пододвинул ему стул.

Офицер сел, оперся локтем и опустил на ладонь голову. Видно было, что он изнурен до беспамятства. Плащ его распахнулся, и офицеры увидели правую руку в заскорузлых, засохших бинтах. Краюха черного хлеба упала из-под плаща и покатила по полу. Лобов поспешно поднял ее и положил на стол около арестованного.

Киселев снова взглянул на своих офицеров и насунился. Он увидел побледневшие, сосредоточенные лица, увидел глаза, полные тревоги и сострадания, и решил скорее закончить неудавшийся спектакль.

– Он ранен, – громко сказал Лобов. – Какое бессердечие!

– Кто из вас, господа офицеры, может признать этого мятежника? – спросил Киселев, как бы не расслышав слов Лобова.

Офицеры не отвечали.

– У господ офицеров, – промолвил язвительно Мерк, – от злоупотребления вином сильно повредилась память.

– Он ранен! – крикнул Лобов. – Вы разве не видите?

Бестужев сделал шаг вперед и, глядя в побелевшие от ярости глаза Киселева, спокойно сказал:

– Есть простые законы, отделяющие нас от скотов. Один из этих законов – человечность в отношении к пленным. Этот офицер ранен и голоден. У него обморожены пальцы. Какое право вы имеете устраивать перед нами подлейший фарс и совершать надругательство над человеком? Напрасно вы ищете нашего сочувствия – его не будет.

Офицеры придвинулись ближе к Бестужеву и молчали. Спина у арестованного затряслась, он упал головою на стол. Анна бросилась к нему, обняла его за плечи и начала торопливо успокаивать, перемешивая русские и шведские слова.

– Это кто? – спросил Киселев и оттолкнул ее от арестованного. – Тотчас убрать эту девку!

– Идите, прошу вас, – тихо сказал арестованный Анне. – Из-за меня вы подвергаетесь оскорблениям.

Анна медленно поднялась и вышла. Лицо ее горело тяжелым румянцем.

Бестужев подошел к Киселеву и наотмашь ударил его по лицу.

Киселев выхватил саблю. Офицеры бросились к нему и схватили за руки.

– Я требую... – кричал Киселев, но за общим шумом его не было слышно.

– Я готов стреляться, когда вам будет угодно, – сказал Бестужев и вышел.

Киселев забыл, что ему как полковому командиру нельзя было драться со своим подчиненным.

На крыльце Бестужева ждала плачущая Анна.

Мерк вызвал караул и приказал увести арестованного. Офицеры тотчас разошлись, забыв погасить свечи. Они горели до утра, наполняя комнату чадом.

...Когда Анна и Бестужев спустились с крыльца, над Мариегамном гудел, свирепея и разыгрываясь с каждой минутой, южный ветер. С грохотом сыпался на палубы кораблей слезавшийся на реях снег. Мигали, загасая, фонари. Подобно далекой пушечной канонаде, гудел в заливе лед – его ломало ветром.

Ветер был теплый и тяжелый. Он стеснял дыхание и приносил с собой воздух неожиданной оттепели.

Бестужев ни слова не сказал Анне о том, что произошло после ее ухода. Она протянула ему руку. Он сжал ее выше кисти и даже сквозь свист ветра и яростный шум бури услышал, как отдавалось в ее теплой руке частое биение сердца.

– Анна, – сказал Бестужев, – вы утешили несчастного, потерявшего надежду на жизнь. Сила моей любви к вам так велика, что я не имею достаточных слов, чтобы ее выразить.

Анна низко наклонила голову и ничего не ответила.

Ветер бушевал над городком с такой силой, будто хотел сорвать и унести на север эту тяжелую, непереносимую ночь с ее кромешным мраком, слезами, чадом свечей, людской жестокостью и любовью. Ветер срывал с ресниц Анны редкие слезы. Временами порывы ветра были так неистовы, что казалось, вот-вот ветер начисто сдует ночь и ей на смену откроется блистающее рассветное небо, покрытое легкими облаками.

В доме у Анны горел свет, на крыльце было натоптано. В прихожей крепко пахло табаком.

– Какие поздние у вас гости, – сказал Бестужев Анне.

– Это к отцу собрались старики.

Бестужев прошел в свою комнату, но едва он успел сбросить плащ и отстегнуть саблю, как Анна окликнула его из-за двери. Бестужев вышел.

– Отец просит вас зайти к нему по важному делу, – сказала она. – Он мог бы прийти к вам, но у нас более безопасно: окна выходят в сад.

Бестужев, волнуясь, пошел за Анной. Старик ждал его в кухне. Он тяжело поднялся навстречу, и вместе с ним из-за стола поднялось несколько седобородых неуклюжих шведов. Бестужев узнал их – то были шкипера кораблей, зимовавших в Мариегамне. Только один среди шкиперов значительно отличался от остальных. Он был черен, низок ростом, и глаза его хитро смеялись. Это был шкипер французского брига, Жак Пинер, застигнутый зимой со своим кораблем в Ботническом заливе и нетерпеливо дожидавшийся весны.

– Чем могу вам служить, господа? – спросил, смутившись, Бестужев.

– А мы, признаться, – ответил по-французски Пинер, – хотели задать этот вопрос вам. Не можем ли мы быть вам полезны, сударь?

Бестужев смутно начал догадываться, зачем его позвали шкипера.

– Мы верим вам, сказал отец Анны, мы будем рады, если не ошибаемся. Ветер ломает лед. Старик замолчал и пошевелил сухими губами.

– Еще два дня такого ветра, – добавил он, – и море до самого Стокгольма будет открыто для кораблей.

– Ваши генералы, – сказал Бестужеву шкипер в желтых сапогах с черными блестящими отворотами, – сделали большую ошибку: они не прислали в Мариегамн ни одного русского военного корабля.

– Военный корабль давно вышел из Або, но его затерло льдом, – ответил шкипер с густой черной бородой. Шкипера говорили по-шведски. Бестужев понимал их с трудом. Он вопросительно взглянул на Анну, и она начала вполголоса переводить их неторопливый разговор.

– За моей «Валькирией», – сказал шкипер в желтых сапогах, – не угнался бы даже самый легкий военный корабль. Но его, к счастью, нету.

– Друзья, – сказал Бестужев, – не будем медлить. Кто первый готов выйти в море?

– Готовы все, – промолвил Пинер, выколачивая трубку, – но мне легче всего это сделать.

За мной меньше следят: я несу на корме флаг Французского королевства.

– Пусть идет он, мы уступаем французам, – сказал самый старый шкипер, и все смолкли. – Но пусть русский офицер не думает, что мы уступаем с охотой. Нет. Каждый из нас хотел бы спасти от виселицы вашего соотечественника. Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, он сражался за нее и для нас. Мы – шведы, финны, французы; он – русский. Мы уважаем его. Каждый из нас умеет молчать. А что касается страха... – старик усмехнулся, – что касается страха, то об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз за кружкой пива. Сколько раз за каждое плавание смерть цепляется за наши борта и строит нам рожи – никто даже не станет считать.

– Самая трудная задача падет на вас, – сказал Пинер, обращаясь к Бестужеву. – Вам придется освободить офицера и матроса из-под стражи и незаметно доставить на мой корабль. Если ветер не стихнет, то не позже чем послезавтра ночью я снимусь с якоря.

– Хорошо, – ответил Бестужев. – Я вам благодарен за доверие.

Старики встали и засопели трубками. Бестужев крепко пожал им руки, и они, натягивая кожаные плащи и стараясь не стучать тяжелыми сапогами, вышли из дому через дверь, ведущую в сад.

Бестужев несколько минут говорил с Пинером. Надо было предусмотреть все препятствия к побегу, чтобы по возможности их избежать. Уходя, Пинер подмигнул и похлопал Бестужева по рукаву:

– Корабль велик, на нем хватит места для всех. Я с радостью приму на борт еще одного офицера, и если мне не изменяет мой старый шкиперский глаз, то и прелестную девушку, его невесту. Не так ли? Я доверяю любящим: они великодушны. Не принимайте это за шутку. Я прожил жизнь, полную неожиданностей и предательств. Поэтому я решаюсь дать вам совет: бегите отсюда.

– Не стоит сейчас говорить об этом. Мне надо подумать.

Француз попрощался и вышел.

Бестужев вернулся в свою комнату, зажег свечу и сел к столу. Он сжал голову ладонями и задумался: как быть с дуэлью?

Ежели он будет завтра убит на дуэли, то побег не состоится, арестованного офицера и матроса отправят с первой оказией в Петербург и там повесят. Этого нельзя было допускать.

Ежели он откажется от дуэли, то его сочтут трусом. Киселев предаст его военному суду за тяжкое оскорбление полкового командира, побег тоже будет сорван, позор ляжет на голову Бестужева и отравит последние дни.

Оставалось одно: оттянуть дуэль до совершения побега, остаться в Мариегамне и стреляться. Это означало крушение всех его тайных мыслей о бегстве с Анной и жизни, полной радости и скитаний.

После разговора с Пинером он уже видел себя вместе с Анной на палубе брига, плывущего в виду плодоносных южных берегов. В прибрежных долинах и на высотах, одетых поморанцевыми рощами, разбросаны селения и замки.

Вода журчит за кормой корабля. Матросы улыбаются, поглядывая на молодую женщину, и уступают ей дорогу. Она осторожно ведет под руку по палубе офицера с перевязанной правой рукой, возвращенного их общими усилиями к жизни. Старинные города поднимаются из морских вод и волнуют сердце. Кровли их блестят под солнцем. Песни рыбаков долетают из утреннего тумана.

Бестужев решил затянуть дуэль до того времени, пока не будут спасены офицер и матрос. Мысль о двух людях, спасенных им, будет жить в сердце у него и Анны и сделает их счастливыми.

Бестужев задумался. Он не слышал голосов старика и Анны за стеной и шагов Анны, подошедшей к двери.

Анна вошла без стука. Бестужев обернулся. Анна стояла в дверях, прислонившись к косяку.

– Павел, – сказала она, – отец только что позвал меня к себе и сказал, чтобы мы были с тобой счастливы. Он говорит, что ты будешь достойным мужем.

Бестужев встал.

– Этому пленному мы обязаны своим счастьем, – продолжала Анна. – Мы его спасем, чего бы это ни стоило. Правда, Павел?

– Клянусь! – ответил Бестужев.

Зеленоватый таинственный свет зари проникал в комнату, и Анна казалась в этом свете очень бледной. Она улыбнулась. Бестужев сделал шаг к ней, но внезапный грохот барабанов раздался за окнами. Барабаны гремели торопливо, часто, но не могли заглушить отдаленный человеческий крик. Бестужев остановился.

– Что это? – вскрикнула Анна и бросилась к Бестужеву.

Она со страхом смотрела в окно. За ним ветер нес черный дым из труб, и в синеватом воздухе все громче, все настойчивее били барабаны.

– Это шпицрутены, – ответил, побледнев, Бестужев.

Анна медленно опустилась на пол: она потеряла сознание.

Семена Тихонова разбудили на рассвете. Унтер-офицер оставил дверь караульной комнаты открытой. Сырой ветер дул по полу и шуршал соломой. Невыспавшиеся солдаты теснились на крыльце, погромыхивали прикладами и громко зевали.

Тихонов вскочил и начал торопливо натягивать сапоги. Он быстро оделся и стал во фронт. Унтер-офицер повернул его, как чучело, осмотрел со всех сторон и сказал:

– Эх ты, Иван-мученик, ружье-то возьми!

Тихонов не понял, зачем брать ружье, когда его ведут пороть шпицрутенами, но ружье взял.

Его вывели. Снег шуршал и оседал на крышах. Каркали, как перед дождем, вороны. Дым из труб прижимало к земле.

«Неужто весна?» – подумал Тихонов и зашагал по сизой жиже из воды и тающего снега. В домах было еще темно.

«Сотню ударов дадут, не меньше, – думал Тихонов. – Полковник горяч на слова. Где ж это видано, чтобы давали триста шпицрутенов! Тогда уж лучше камень на шею – и в прорубь».

Вышли на плац. В две узкие шеренги лицом друг к другу были выстроены солдаты с шомполами в руках. На фланге стояли барабанщики. Около них ходил, покуривая трубку, Мерк. Изредка носком сапога он легонько ударял то одного, то другого барабанщика по ногам – выравнивал строй.

Тихонова подвели к Мерку.

– Сними, братец, мундир, – сказал Мерк. Он внимательно смотрел, как Тихонов застывшими пальцами расстегивал медные пуговицы и стаскивал мундир. – Экий ты, братец, лодырь – рубаха у тебя рваная. Ну, гляди, держись молодцом.

– Рад стараться, ваше высокородие! – деревянным голосом крикнул Тихонов и снял рваную рубаху.

– Рота, слуша-ай! – прокричал Мерк и повернулся на каблуках.

Солдаты неестественно вытянулись и застыли. Барабанщики подняли палочки над серой кожей барабанов. Только посредине на каждом барабане темнело пятно от ударов.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат привязали руки Тихонова к прикладу его ружья, взяли за дуло и повели Тихонова к началу шеренги. Тихонов шел медленно, будто недоумевая.

– Рота, слушай! – вторично крикнул Мерк. – По приказу командира полка! Прогнать рядового Тихонова сквозь строй. Дать триста ударов. Начина-а-ай!

– Ваше высокородие! – крикнул Тихонов и опустился на колени в мокрый снег.

– Начина-а-ай! – Мерк махнул перчаткой.

Загремели, сбиваясь, барабаны. Унтер-офицер и рыжеусый солдат рванули Тихонова за дуло ружья. Тихонов упал, прополз несколько шагов по снегу, поднялся и, шатаясь, вошел в тесный проход между солдатами. Просвистел первый шомпол.

– Раз! – хрипло крикнул унтер-офицер.

Снова свистнул шомпол.

– Два! – весело крикнул рыжеусый солдат.

Тогда Тихонов повернул к Мерку страшное, налитое кровью лицо и крикнул, срывая голос:

– Правду в кандалы не забьешь! Не забьешь, братцы! Придет им конец, извергам, кровососам!

Он бессвязно кричал и упирался. Со спины сочились струйки крови. Ныли и гудели барабаны. У солдат тряслись губы.

На пятидесятом ударе Тихонов упал. Его подняли. К спине прилипли комья кровавого снега.

Через несколько ударов он упал снова. Его волокли по снегу, он хрипел. Солдаты без приказа опустили шомпола. Барабаны затихли.

– Лежачего не бьют, – сказал, заикаясь, Мерк и подошел к Тихонову.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат перевернули Тихонова лицом вверх. Мерк нагнулся. Тихонов открыл глаза и посмотрел на небо мутным, безжизненным взглядом. Потом он перевел глаза на Мерка, с натугой сел, и челюсти у него задвигались, будто он пережевывал черствый хлеб.

– Отойдите, ваше высокородие, – сказал унтер-офицер, – как бы беды не вышло.

Мерк быстро выпрямился. Тихонов хотел плюнуть ему в лицо, но кровавая слюна стекла у него по подбородку и застряла в небритой щетине.

– Убрать! – сказал Мерк, отвернулся и медленно пошел прочь.

Солдаты быстро подхватили Тихонова, положили на шинель лицом вниз и понесли в полковой лазарет.

Утром к Бестужеву приехали секунданты Киселева. Они застали Бестужева с правой рукой на перевязи.

– Я прошу вашего разрешения, – сказал Бестужев, – отложить дуэль на два дня. Вчера, возвращаясь ночью домой, я упал и повредил правую руку. Поверьте, что эта задержка мне крайне неприятна, но причина достаточно уважительная. Стрелять я не могу. Я приму все меры к тому, чтобы рука у меня была излечена в кратчайшее время.

– Мы снесемся об этом с господином Киселевым, – ответил один из секундантов, отставной шведский лейтенант, проживавший на мызе вблизи Мариенгамна, – и доложим его решение вашим секундантам. Разрешите узнать их имена.

Бестужев назвал Лобова и полкового лекаря Траубе. С утра он успел известить их об этом запиской.

– Может быть, вам прислать моего домашнего врача? – любезно предложил, прощаясь, швед.

Бестужев покраснел.

– Благодарю вас, – сказал он резко. – Я нахожусь на ногах и сам могу пройти в случае надобности в лазарет.

Секунданты откланялись и вышли.

Через час приехал на маленьких санках, запряженных водовозной клячей, полковой лекарь Траубе – подслеповатый, с покрытыми розовым пухом щеками, в громадных очках.

Он ласково мял левую руку Бестужева в пухлых ладонях и сказал, что Киселев, как известный забияка и дуэлянт, требует, чтобы дуэль состоялась не позже завтрашнего утра, с тем чтобы оба противника стреляли левой рукой.

Сердце у Бестужева упало. Он согласился. Траубе хотел осмотреть у Бестужева правую руку, но тот отмахнулся.

Траубе снял очки, долго протирал их красным платком и моргал светлыми ресницами, едва прикрывавшими его выпуклые глаза. Лицо лекаря морщилось, и углы рта дрожали.

– Павел Алексеич, – сказал он, потупившись, – что же это такое? Вот уж действительно, как говорят старики, настали черные дни.

– Да, времена черные.

– Сколько печальных событий! Ночью доставили ко мне в лазарет двух задержанных мятежников.

– Почему в лазарет?

– Офицер, как вы, должно быть, заметили, имеет запущенную рану на руке. Он нуждается в лечении, он истощен. А у матроса отморожены ноги.

– Доктор, – сказал Бестужев, – зачем вы их лечите? Чтобы можно было потом повесить?

Лекарь уронил на пол красный платок.

– Неужто вы полагаете, – спросил он испуганно, – что я должен отказаться от лечения?

– Это было бы благороднее. Для чего сохранять здоровье людям, если их ожидает неизбежная казнь?

– Может быть, император помилует их?

– Никогда!

– Я лечу их, – сказал лекарь, – потому что сохраняю надежду, что жизнь им будет возвращена.

– Кем?

Лекарь снова снял очки и начал судорожно их протирать.

– Кем? – повторил Бестужев. – Могут ли они бежать без посторонней помощи?

– Какое безумие! – воскликнул лекарь. – У всех дверей и окон стоят часовые.

Тогда Бестужев наклонился к лекарю и сказал тихо:

– Если у вас есть хоть капля мягкосердечия и чести, если совесть не позволяет вам быть участником казни, каковым вы сейчас являетесь, то слушайте...

Лекарь опасливо взглянул на окна и придвинулся к Бестужеву. Они говорили долго. Вставая, Бестужев сказал:

– Я буду у вас в лазарете сегодня вечером. Мне надобно ознакомиться с его расположением и заодно навестить солдата моей роты Тихонова. Его сегодня секли.

– Тогда торопитесь, – сказал лекарь. – Ему осталось жить недолго. Он потерял много крови.

Лекарь попрощался и вышел. Водовозная кляча медленно потащила его сани к лазарету.

Бестужев подошел к окошку и прижался лбом к холодному стеклу.

– Кровь... – сказал он с тоской. – Сердце запекается кровью.

В сумерки Анна с Бестужевым вышли из дому. Анна весь день тревожилась. Она видела, как к Бестужеву приезжали офицеры, видела лекаря, но ни о чем не спрашивала. Она думала, что все это связано с приготовлениями к побегу.

С утра до ранних сумерек она просидела у горящего камина, закутавшись в платок, и отказалась от обеда, даже от чашки кофе. При каждом шуме она вздрагивала: ей все время мерещился грохот барабанов.

За день она осунулась, морщинка легла около ее нервных, взлетающих бровей, и в глазах, когда она смотрела на Бестужева, появился печальный, материнский свет.

Бестужев не выдерживал ее взгляда и отводил глаза. Он чувствовал глубокое смущение оттого, что вынужден был молчать о дуэли.

Он непрестанно думал об Анне. Он испытывал жестокую горечь оттого, что их любовь началась так поздно и незадачливо, в эти черные, беспокойные дни. А ведь еще недавно она могла бы так пленительно расцвести среди свежей и мягкой зимы, заставлявшей гулко биться горячее сердце, под веселый треск печей, под детский смех простодушных стариков, под звон прадедовских курантов.

Анна с Бестужевым вышли на окраину городка, к морскому берегу. Ноги проваливались в снег.

На берегу Анна тронула Бестужева за руку и показала на море. За неширокой полосой толстого треснувшего льда оно уже шумело пенистыми темными валами, и ветер нес в лицо водяную пыль.

Невдалеке виднелись корабли. Они качались, принимая удары волн. Якорные цепи то опускались в черную воду, то подымались с тяжелым звоном, и с них лились пенистые потоки.

Дул южный ветер. Временами начинал падать крупный мокрый снег. Он таял на лице и затягивал морские дали зловещей мутью. На кораблях уже зажигали фонари, и от тусклого их света вечер казался неприветливым и ненужным.

Анна и Бестужев медленно пошли обратно в город. Около лазарета они расстались: Бестужев хотел зайти в лазарет.

– Почему ты так печален, Павел? – спросила Анна, когда они прощались, и долго не выпускала руки Бестужева.

– В лазарете умирает мой солдат, – уклончиво ответил Бестужев. – Ты же знаешь.

– А больше тебя ничто не тревожит, милый?

– Нет, Анна.

Бестужев боялся поднять глаза. Анна вздохнула:

– Ну хорошо. Возвращайся скорее, я буду тебя ждать. Без тебя мне страшно и все кажется, что на острове нет ни души. Возвращайся.

Бестужев кивнул головой, повернулся и быстро пошел к лазарету. Анна смотрела ему вслед.

Бестужев вошел в холодную палату. Тихонов лежал на железной койке вниз лицом. Увидев Бестужева, он зашептал и зашевелился. Забинтованная его спина не была покрыта серым одеялом: тяжесть одеяла вызывала у Тихонова сильную боль.

Солдат – служитель при лазарете, в коротком грязном халате, – загремел сапогами и вышел.

Бестужев подошел к Тихонову и стал на колени около койки, чтобы видеть лицо солдата. Но лица он не рассмотрел. Он видел только черную опухшую щеку и один темный усталый глаз.

– Встаньте, ваше благородие, тут мусорно, – прошептал Тихонов. – Я обернусь.

– Лежи, лежи, милый, – негромко сказал Бестужев и положил руку на шершавую голову Тихонова.

– Ваше благородие... – сказал Тихонов и заплакал. – За что они меня так?

– Ты не плачь, Тихонов. – Бестужев нахмурился и, отвернувшись, смотрел на темное окно. – Даст Бог, мы с тобой оба живы останемся, кончим солдатскую службу, выйдем на волю.

– Какая воля! – сказал Тихонов едва слышно. – Кому воля, а кому маета. Жена померла. Остались старуха да сын. Петрушкой его звать. Ваше благородие, уважьте, отпишите матери про мою кончину. Отпишите: преставился, мол, ваш любезный сын Семен Тихонов от грудной горячки и приказал долго жить.

– Куда отписать?

– Новгородской губернии, Белозерского уезда, село Мегры на Ковже-реке, Авдотье Тихоновой, – прошептал Тихонов и надолго замолк.

Было слышно, как ходили у соседнего окна часовые и кто-то тяжело дышал за стеной.

– Ну, прощай, Тихонов, – сказал Бестужев.

Солдат медленно высвободил из-под одеяла холодную, восковую руку, сжал ею руку Бестужева и снова замолк. Казалось, он уснул. Бестужев ждал.

– Прощай, друг, – сказал наконец едва слышно Тихонов.

Бестужев осторожно вышел.

Домой Бестужев вернулся поздней ночью. Измученная Анна, не дождавшись его, уснула. Бестужев остановился около открытой двери в ее комнату.

– Что, Павел? – тревожно сказала во сне Анна и затихла.

Бестужев подождал, услышал ее дыхание и с холодным отчаянием в сердце прошел в свою комнату.

Он зажег свечу, сел к столу и посмотрел на часы – было два часа ночи. Дуэль была назначена на шесть часов в сосновой роще на берегу залива.

– Осталось всего четыре часа, – сказал Бестужев и, задумавшись, долго чинил гусиное перо.

Он достал из стола желтую плотную бумагу и начал быстро писать на ней косым брызгающим почерком.

Анна, – писал он, – я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли. Наша любовь и без этого перенесла достаточно испытаний. Едва мы поняли, что любим друг друга, как тяжкие и возмутительные события вторглись в жизнь. Они наполнили сердца негодованием и беспокойством, заставили тебя проливать слезы, поглотили все мое существо, весь мой разум, занятый в этот час только одной мыслью – спасти благородных людей, обреченных на казнь.

Единственное утешение для нас в том, что мы, вопреки обычному бессердечию любящих, смогли от чистого сердца отдаться чужим несчастьям. Мы почитаем невозможным жить только своей любовью друг к другу перед лицом несправедливостей и мучений народных.

Я употребил эти слова вполне законно, ибо смерть Тихонова и арест участников петербургского восстания являются лишь отдельными случаями всеобщего народного страдания. Им щедро и незаслуженно наделена моя родина.

Наши мечты о бегстве рассеялись из-за дуэли. Только что я посетил Пинера на его корабле. Он снимается в ночь на послезавтра. Сняться сейчас он не может по причине неготовности парусов. Вся команда чинит паруса не покладая рук, из чего я заключаю, что мужественные матросы кое-что знают о наших планах.

Побег произойдет только через сутки, а дуэль – через четыре часа. Ежели я останусь жив, то участь несчастных арестованных станет нашей участью, и мы, освободив их, должны будем бежать вместе с ними. Ежели я буду убит или сильно ранен, то ты, Анна, заменишь меня.

В ночь на послезавтра караулом в лазарете командует Лобов. У него заготовлен подложный приказ командира полка о переводе заключенных в недостроенный форт Сэзбю. Доктор на нашей стороне. Солдаты возбуждены и готовы по первому слову повернуть оружие против вчерашних командиров. Полк волнуется.

Ежели Лобову удастся (держась в кармане подложный приказ на случай встречи с Мерком или с кем-либо из преданных командиру офицеров) вывести арестованных, то шлюпка с корабля будет ждать их за первым лесистым мысом по дороге в Сэзбю. Лобов скроется вместе с беглецами.

Я верю Пинеру и его опыту моряка, но прошу тебя прийти на корабль с вечера и показать Пинеру берег, куда надлежит послать шлюпку за беглецами. Ты знаешь эти места, как свой дом. Пинер же опасается, что в темноте матросы могут заблудиться, да и он сам не сможет в точности определить место за незнанием здешних берегов. В ответ на мои уверения, что ты будешь присутствовать на корабле, он сказал, что лучшего лоцмана, чем Анна, ему и не надобно.

Солдаты могут бежать, но вряд ли они на это согласятся. Их судьба в безопасности, ибо они будут действовать по прямому приказу начальника.

Я боюсь, что точность моих объяснений ты можешь принять за безразличие к тебе. Неужели ты скажешь: как он мог писать так спокойно и рассудительно, зная, что большие меня не увидит?!

Анна, моя любовь к тебе безмерна. Я боюсь думать о тебе в эти минуты. Я гоню от себя воспоминания и страшусь услышать твой голос. Если бы ты вошла сейчас, я бы не выдержал, забыл обо всем и на коленях умолял бы тебя лишь об одном – о спасительном бегстве. Я бы

забыл свою честь и судьбу несчастных. Поэтому я пришел поздней ночью, чтобы застать тебя спящей.

Я знаю – и ты должна знать это вместе со мной, – что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительной силой. Пренебрежение к счастью народа будет почитаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли, и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев.

Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны. Я завидую им и кричу в душе, как кричат узники из мрачных казематов: не забывайте нас, счастливицы!

Прощай! Прости за трудную любовь и невольные страдания. Письмо на имя Авдотьи Тихоновой перешли в село Мегры, Новгородской губернии, Белозерского уезда.

Бестужев, не перечитывая письма, запечатал его в конверт и написал на нем: «Анне».

Потом он написал второе письмо, матери Тихонова, и оставил его на столе.

Несколько минут он сидел, закрыв глаза рукой, и как бы прислушивался к течению ночи. Она влеклась над землей, морем и лесистыми островами, безмолвная и печальная. Чуть заметная бледность уже проступала на стеклах.

Бестужев встал, надел на правую руку черную перевязь, накинул плащ и осторожно вышел в коридор. Анна спала. В теплой тишине комнат было слышно ее спокойное дыхание.

Бестужев вышел, прикрыл за собою дверь и, крадучись, спустился с крыльца. Далеко пели петухи. Стволы берез уже белели во мраке: приближался скудный и холодный рассвет.

Бестужев медленно пошел к сосновой роще за городом.

...Лобов и Траубе приехали первыми на водовозной кляче. Кожа у клячи была покрыта опинами и все время дрожала. Как только секунданты вылезли из саней, лошадь уснула.

Чуть светало, и в пасмурном воздухе обледенелый лес поблескивал, как стеклянный.

Лобов зевнул. Лекарь посмотрел на него с недоумением.

– Эх, – сказал Лобов, – много бы я дал за то, чтоб выспаться! В такое утро лежать бы на койке и слушать, как угли в печке трещат, будто сверчки.

– Вы всегда шутите несообразно с обстоятельствами.

– Эх, Карл, мякиш мой милый! – ответил серьезно Лобов. – А что толку плакать? Что жизнь? «Живи, живой; спокойно глей, мертвец».

Послышался глухой топот. Водовозная кляча проснулась и посторонилась. Швыряя снегом в лакированный козырек саней, примчались гнедые кони Киселева.

Киселев легко выскочил из саней, холодно посмотрел на секундантов Бестужева и поздоровался. За ним из саней вылезли длинный швед со скучным лицом и толстый развязный штабс-капитан Курочкин – полковой враль и фигляр. Курочкин достал из саней ящик с пистолетами.

Бестужев пришел пешком. Шел он медленно, проваливаясь в рыхлый снег и выбирая дорожку среди поваленных деревьев.

Секунданты вытоптали в снегу тропинку и поставили противников по ее краям. Мириться не предлагали: должно быть, об этом забыли. Швед стоял в стороне и потирал озябшие руки. Хлопотал один Курочкин. Лобов, нахмурившись, осмотрел пистолеты.

Бестужев прислонился к стволу молодой березы и взял пистолет. От непривычки стрелять левой рукой она казалась деревянной и болела в сгибе.

Бестужев прицелился. Киселев небрежно подымал пистолет левой рукой. Он сбросил плащ на снег и сильно шурился.

Вороны с отчаянным карканьем взлетели с березы и засыпали Бестужева снегом. Бестужев взглянул вверх, и в то же мгновение раздался выстрел. Бестужев увидел длинную струю

дыма, различил пороховой запах – от него стало тошно на сердце, – выронил пистолет и упал лицом вперед на вытопанную тропинку.

Лобов, спотыкаясь, подбежал к нему и поднял за плечи. Кровь капала в снег, и в снегу протаяло от нее несколько розовых ноздреватых воронок.

Торопливо подошел Траубе. Он наклонился над Бестужевым, покачал головой и медленно выпрямился.

– Ну что, как? – спросил Лобов.

– Выстрел в сердце.

Траубе начал судорожно вытаскивать из кармана большой красный платок. Слезы текли из-под очков по круглым щекам лекаря.

– Перевяжите его, – сказал Киселев.

– Что? – тонко крикнул Траубе, и щеки его задрожали. – Может быть, я ослышался? –

Он повернул к Киселеву бледное пухлое лицо. – Вы не смеете мне приказывать. Вы не смеете ничего говорить. Вы убийца, и с вас сорвут за это погоны.

Киселев отвернулся и пошел к лошадям.

– Да, да! – кричал ему вслед Траубе. – Я подаю в отставку. Я не тюремщик и не мясник!

Киселев, делая вид, что не слышит слов лекаря, быстро сел в сани с Курочкиным и тронул лошадей.

Лобов, Траубе и швед подняли мертвого Бестужева и перенесли в сани. Водовозная кляча оглянулась, мотнула головой и неохотно зашагала по снегу. Секунданты шли рядом.

Кляча часто останавливалась, и ее приходилось понукать.

Бестужева привезли в лазарет и положили в мертвецкой рядом с Семеном Тихоновым. А через час в лазарет прибежала Анна.

– Он не умер, неправда, – твердо сказала Анна лекарю и посмотрела мимо него пустыми глазами. – Он скоро очнется.

– Ах, боже мой, боже мой! – прошептал лекарь, вышел в соседнюю комнату и долго топтался около стеклянного шкафа с лекарствами. – Что делать?

Он налил в стакан ландышевых капель и разбавил их кипяченой водой. Он делал это долго, расплескивал воду и прислушивался. Ему было страшно оставаться наедине с Анной.

Анна молчала. Потом она вскрикнула. Траубе со стаканом в руке вошел в мертвецкую. Анна трясла Бестужева за плечи, затем подняла его голову, прижала к груди и посмотрела на лекаря впалыми сухими глазами.

– Уйдите! – сказала она хрипло. – Уйдите все, мне ничего не нужно.

Траубе протянул ей стакан с лекарством. Анна взяла его и швырнула в угол комнаты...

– Анна... – сказал Траубе, и голова его затряслась. – Анна, прошло уже много часов, как вы плачете здесь, в этой комнате. Уже вечер. Я прошу вас, я заклинаю вас, пойдите домой на несколько часов. Я посижу пока с ним.

Анна опустила голову Бестужева на подушку, набитую жесткой соломой, и встала.

– Уже вечер? – спросила она с недоумением. – Правда, темно. Но ведь весь день было темно, как ночью. Который час?

– Девятый.

Анна запахнула шубку, поправила на голове платок и, не оглядываясь, пошла к двери.

– Я вернусь, – сказала она Траубе. – Никуда не уходите. – Она вышла на улицу и быстро пошла к морю.

У обросших желтыми лишаями валунов качалась и билась о камни темная шляпка. Матрос молча протянул Анне руку и помог спуститься. Потом он вытер руки о старые бархатные штаны и взялся за весла.

Серые волны взлетали и исчезали в темноте. Изредка они плескали в шлюпку. Матрос молча греб к темному кораблю. Анна неподвижно сидела на корме и не отрываясь смотрела на корабль, тяжело нырявший в беспокойной, покрытой пеной воде.

С корабля бросили веревочный трап. Анна поймала его и вскарабкалась на палубу. Не было сказано ни слова.

Пинер тихо свистнул, и тотчас безмолвная толпа матросов на баке начала вращать кабестан. Из воды поползла ржавая якорная цепь. Глухо шуршали, раскатываясь, паруса. На палубе не было огня, никто не курил.

Анна стояла на капитанском мостике рядом с Пинером. Корабль тихо скрипел. Волны били в его корму и разлетались в стороны с шипением и тусклым блеском. Бриг сильно вздрогнул, накренился на правый борт, и редкие огни городка начали меняться местами и гаснуть, скрываясь за скалами.

– Пошли, – сказал Пинер и перекрестился широким католическим крестом.

Анна, наморщив брови, вглядывалась в огни городка за кормой и время от времени протяги-вала вперед руку, показывая Пинеру, куда вести корабль.

На соседних шведских парусниках было темно и тихо; на них нарочно погасили огни. Только на одном из них Пинер разглядел темную фигуру, как будто махавшую шапкой. Фигура быстро слилась с ночным мраком.

Корабль плыл в оцепенении. Люди молчали. Только ветер туго гудел в парусах и было слышно, как плещет о берега невидимый прибой. Изредка льдины били о деревянный борт брига, но корабль легко отшвыривал их, и они, неуклюже переворачиваясь и шипя, уходили под воду, чтобы снова всплыть за кормой.

– Держите ближе к берегу, – сказала Анна Пинеру. – Это здесь.

Пинер протяжно свистнул. Паруса заполоскали: корабль ложился в дрейф. На корме матросы осторожно спускали на таях большую, тяжелую шлюпку.

В полночь Лобов, одетый по-походному, явился в лазарет. Он вызвал Траубе, снял при нем часовых, прочел им приказ командира полка о переводе арестованных в форт Сэгбю и распорядился не отлучаться ни одному солдату из лазарета до его возвращения. Солдаты молча повиновались.

Лобов вывел арестованных и быстро по задворкам повел их в сторону леса. Тогда один из солдат сказал вполголоса:

– Улетели, сердешные, только след за ними горит.

– А ты помолчи, кавалер, – грубо оборвал его низенький старый солдат. – Мы люди казенные. Ты приказы сполняй, а в них за тебя офицеры небось разберутся.

Разговор оборвался.

Лобов и арестованные шли молча. Лес обступил их затишьем и мраком. Потом в мокрой его глубине послышались тяжелые удары моря и по ветвям подул ровный соленый ветер.

Лобов свернул с дороги и пошел напрямик к берегу. От берега тянуло запахом зернистого тающего льда. В черной мгле смутно виднелась седая неподвижная громада корабля. На берегу беглецов ждали Анна и матросы.

– Скорей! – сказала Анна Лобову. – Течение сносит корабль на скалы. Торопитесь!

– А вы? – изумленно спросил Лобов. – Вы должны бежать вместе с нами.

– Нет, – Анна покачала головой, – я не могу уехать.

– Но почему?

– Неужели я должна вам объяснять это? – сказала Анна с такой горечью, что Лобов покраснел в темноте.

Он крепко пожал руку Анне и ничего не ответил. Анна обернулась к арестованному. Офицер сделал шаг вперед.

– Мы никогда не забудем, – сказал он, – вашей помощи. Мужайтесь! Всюду в мыслях я буду с вами. Может быть, мы еще свидимся и я смогу принести вам хотя бы ничтожное утешение.

Он хотел поцеловать у Анны руку, но она притянула его голову к себе и поцеловала в холодный лоб. Она сжала плечи беглеца. Сердце ее тяжело билось от боли. Ради его спасения было отдано все: счастье, любовь, отдана жизнь. Он был теперь единственным родным ей человеком.

Ветер хлопал парусами корабля. Матросы торопили. Беглецы и Лобов вошли в шлюпку. Первая же волна откинула ее от берега и скрыла в темноте.

Анна стояла на берегу и ждала. Изредка она слышала глухой стук уключин. Ветер обдувал платье на Анне, леденил лицо. Она смотрела в темноту до тех пор, пока громада корабля, неясная как видение, не начала медленно скрываться во мраке. Тогда Анна застонала, обняла сырой ствол сосны и прижалась к нему головой. Никогда она не думала, что в жизни может быть такое полное и глухое одиночество, такое отчаяние.

Медленно, спотыкаясь и хватаясь за стволы деревьев, Анна побрела в город. Ночное море шумело за ее спиной равнодушно и угрюмо. Анна знала, что ничто в мире не может принести ей утешения, никто не поймет ее слез, что сейчас оборвались последние нити, привязывающие ее к жизни.

Бестужева и Тихонова похоронили на следующий день к вечеру.

Мерк не разрешил оркестру играть на похоронах. Только барабанщики шли впереди понурых солдатских рядов и отбивали печальную дробь. Два дощатых, плохо обструганных гроба солдаты несли на плечах. Впереди брел старый глухой священник. Он не слышал самого себя и потому то едва слышно бормотал слова молитв, то выкрикивал их во весь голос.

Вперемежку с солдатами шли немногие офицеры. Заплаканный Траубе шел рядом с Анной и изредка поддерживал ее за локоть. Анна каждый раз вздрагивала и оглядывалась. Ей казалось, что похоронное шествие стоит на месте. Она видела все одно и то же: мутное небо, землю, засыпанную белым снегом, серые стриженные головы солдат, их серые шинели и озябшие красные руки, державшие черные бескозырки.

Хор заунывно тянул непонятные церковные напевы. Гробы качались. На крышке гроба Бестужева лежала его сабля, у Тихонова – старая солдатская фуражка.

Анна опускала глаза и видела рыжие сапоги солдат, шедших впереди. Она смотрела на солдат, на их спины, на озябшие руки, осторожно поддерживавшие гроб, и думала, что эти руки почти прикасаются к телу Бестужева, к его бледному задумчивому лицу. Тогда она начинала плакать. Траубе брал ее за локоть, а солдаты позади сморкались, вытирали носы рукавами шинелей и перешептывались.

Их шепот доходил до Анны, и она слышала в нем слова неуклюжего и беспомощного утешения.

– От пули не посторонишься, – говорили солдаты. – У него легкая смерть была, несколько не мучился. Горе – как полая вода: все затопит, а потом сойдет.

На кладбище открыли крышки гробов, и глухой священник, помахивая кадилом, громко сказал страшные слова:

– Приидите, последнее целование дадим.

Анна подошла к гробу, стала на колени, растерянно оглянулась и поцеловала Бестужева в холодные тонкие губы. Бестужев смотрел на нее из-под опущенных ресниц печально и сосредоточенно. Она положила Бестужеву на плечи худые маленькие руки и долго вглядывалась в его лицо.

Все ждали. Священник сердито кадил и кашлял. Траубе поднял Анну.

К гробам один за другим подходили солдаты. Они поправляли кожаные пояса, одергивали шинели, крестились, целовали в лоб Бестужева и Тихонова и отходили. Иные становились на колени и до земли кланялись мертвецам.

Все это совершалось в полном безмолвии. Только свежая земля и щебень, сваленные около могилы, осыпались и шуршали под сапогами.

Гробы закрыли, и священник начал невнятно и быстро бормотать молитву «об убиенном рабе Божьем боярине Павле и новопреставленном рабе Божьем Семене». Хор запел «вечную память», серые ряды солдат тяжело рухнули на колени, и послышались всхлипывания.

– Веселое горе – солдатская жизнь! – сказал за спиной у Анны сиплый голос.

Она оглянулась. Десятки тоненьких свечей пылали и коптели под сереньким небом. Кто-то дал свечу и Анне. Пламя ее сильно дрожало, будто хотело оторваться от фитиля, и Анна в испуге прикрыла его ладонью.

– Идемте! – Траубе взял Анну за руку. – Больше вам незачем оставаться.

К гробам подходили солдаты с веревками и лопатами.

Анна покорно ушла. Она осторожно несла горящую свечу и болезненно улыбалась. Траубе с беспокойством смотрел на нее и думал, что даже самый спокойный рассудок не может вынести бесследно таких потрясений.

– Чему вы улыбаетесь? – спросил он Анну.

– Тише, – ответила Анна и посмотрела на Траубе спокойными глазами.

Начал падать отвесный снег. Снежинки бесшумно ложились на землю. Анна долго смотрела на них.

– Вот видите, даже они стараются не шуметь.

Когда снежинки падали на горящий фитиль, свеча сильно трещала. Анна осторожно задула ее, повернулась и пошла обратно на кладбище.

Траубе посмотрел ей вслед, махнул рукой и, сгорбившись, сразу постарев, побрел к себе в лазарет.

Часть вторая

В конце 1916 года, во время германской войны, штурман Александр Щедрин, только что окончивший морское училище, был отправлен на Аландские острова, во флотилию миноносцев.

Зима стояла теплая. За Ревелем море было свободно ото льда. Щедрин долго смотрел с палубы транспорта на затянутые сумраком берега. Там, в Ревеле, осталась мать. Она приехала из Петрограда проводить сына и остановилась в недорогой гостинице.

Отец Щедрина – морской врач – давно умер. Мать жила на пенсию. Она помогала своим сестрам, теткам Щедрина, и пенсии всегда не хватало. В одном Петрограде было три тетки. Кроме того, приходилось посылать деньги еще одной тетке во Владивосток, а другой – в Киев.

Все тетки были или старые девы, или вдовы с кучей детей на руках. Семья была дружная, петроградские тетки давали уроки музыки и французского языка. Они всегда торопились, беспокоились, бегали по лекциям и библиотекам, умилялись на концертах, вечно кого-то жалели и кому-нибудь помогали.

Почти все тетки были женщины добродушные и некрасивые. Это, по словам матери Щедрина, «разбивало их личную жизнь». Одна тетка прекрасно пела, у нее был оперный голос, но на сцену ее не взяли из-за близорукости. Без пенсии она слепла и делалась беспомощной, как ребенок, – куда же такую на сцену!

Но, несмотря на некрасивость, у всех теток были в молодости жестокие романы. Герои этих романов давно облысели, женились, заведовали департаментами и командовали полками, но все же тетки при случайных встречах с ними на улице вспыхивали, как институтки, потом прибегали к матери Щедрина, запирались в ее комнате и долго плакали.

– За что Бог наградил меня такими дурами! – в сердцах кричала за дверью мать.

Но Щедрин знал, что она притворяется.

Сестры не могли жить друг без друга. Мать Щедрина считалась их общей утешительницей. Она была добра, рассудительна и называла себя революционеркой.

Тетки были отходчивы. Через час после слез они уже возмущались за обеденным столом министром народного просвещения, тупицей Кассо.

Как и у многих семей, у Щедриных было свое семейное предание. Когда Александр подрос, мать рассказала ему, что его дед, Николай Щедрин, участвовал в восстании декабристов, был ранен в руку и бежал после восстания за границу. Вместе с матросом восставшего гвардейского экипажа он пробрался в Або и оттуда пошел пешком по льду замерзшего Ботнического залива в Швецию. На Аландских островах его арестовали, но ему удалось бежать в Стокгольм на французском парусном корабле.

Тогда же мать достала из комода и показала Щедрину небольшой портрет молодого военного, сделанный акварелью. Бледный офицер стоял, опираясь на саблю, в дверях пустого зала. На офицере был черный мундир. Позади, за стеклами дверей, висели в небе белые облака и стояли сады, покрытые серой дымкой. От портрета почему-то оставалось впечатление одиночества.

Щедрин не очень верил семейным преданиям. К своим восторженным теткам он относился снисходительно и даже насмешливо.

Александра Щедрина тетки звали увальнем и сухарем и возмущались тем, что мальчик чрезмерно увлекается научными книгами и сидит по ночам над чертежами географических карт, вместо того чтобы зачитываться Тургеневым и декламировать стихи Фета.

Когда Щедрин получил назначение на Аландские острова и уезжал с матерью из Петрограда в Ревель, все тетки пришли провожать его на Балтийский вокзал.

Морские офицеры, ехавшие в одном вагоне с Щедриным, иронически поглядывали на стайку щебечущих старушек, окружавших Щедрина. Тетки крестили его, давали ему много советов, роняли от волнения пенсне и сумочки. Щедрин краснел и с нетерпением ждал третьего звонка.

Но когда поезд тронулся, он рассердился на себя, на свой стыд за теток перед офицерами и молчал всю дорогу.

...В Ревеле, в тесном номере гостиницы, где от обилия старых ковров и бархатных портьер воздух казался тусклым, мать Щедрина, сидя на диване, сказала ему:

– Саша, ты поищи, милый, на Аландских островах какие-нибудь следы деда Николая. Все-таки интересно.

– Хорошо, мама.

Мать перед этим плакала, и Щедрин был рад, что она отвлеклась от мыслей о войне и вспомнила про деда.

В Ревеле во время войны запрещалось зажигать свет в домах, если на окнах не были опущены шторы. Они сидели в темноте, и старинный город за окнами был сумрачен и тих. Зеленые звезды горели над ним, и с улиц доносился тихий стук колес.

– Никогда я не думала, – сказала мать, – что буду сидеть с тобой где-то в ревельской гостинице и провожать тебя на войну. Чем все это кончится, Саша?

Мать печально вздохнула.

В дверь постучали. Вошел портье, лысоватый, похожий на сыщика. Он быстро obeжал глазами комнату и доложил, что, по старой традиции, владелец гостиницы ежегодно устраивает для своих жильцов, оторванных от родного дома, рождественскую елку. Владелец гостиницы просит всех сойти в зал, где елка уже зажжена и господа жильцы могут получить подарки.

Щедрин с матерью спустились в зал. Золотой жар разноцветных свечей наполнял его. Окна были завешены.

Елку так густо украсили стеклянными бусами, бумажными цепями, флажками союзных держав и золочеными орехами, что почти не было видно ее темной хвои. Елка стала похожа на дорогую куклу в розовых кружевах. Круглые маленькие столики стояли вокруг нее. За ними сидели морские офицеры и женщины в бальных нарядах.

Черное старенькое платье матери Щедрина выделялось среди шелкового сияния и горячего света, как нищенская заплата. Мать стеснялась. Они сели в углу, за крайний столик, и долго ждали, пока официант подошел к ним и сунул на стол длинный список кушаний.

– Я выберу сама, Саша, – робко сказала мать и взяла карточку. Денег было немного, и она боялась, что сын, чтобы порадовать ее, закажет что-нибудь слишком дорогое.

Официант не стал ждать и отошел к соседнему столику. Там сидел плотный черноробордый капитан первого ранга. Глаза у него были темные и выпуклые. Он водил ими по сторонам и с одинаковым выражением безразличия смотрел и на официанта, и на Щедрина, и на свою даму – пышную и густо напудренную блондинку в лиловом платье.

Мать заказала чай с пирожным. Официант долго не подавал. Ждать за пустым столиком было тяжело и почему-то стыдно, как на скамье подсудимых.

Молоденький мичман подсел к роялю, ударил по клавишам и запел грассируя:

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь...

Мичман зажал папиросу в углу рта, небрежно поморщился и взял сладкий затихающий пассаж. Тогда из-за дальнего столика грубый голос неожиданно сказал:

– Я просил бы от имени всех господ офицеров сыграть сначала гимн, а потом ваши розы.

Мичман снисходительно улыбнулся, оборвал песню, встал и, слегка наклонившись над клавиатурой и рисуясь, заиграл гимн. Все поднялись. Официанты застыли с подносами среди зала.

Мать Щедрина торопливо встала, ридикюль у нее раскрылся, и из него выпал на ковер скомканый носовой платок. Он был еще сырой от слез.

Когда все сели, женщины вынули из сумочек изящные зеркальца и пудреницы и начали, смеясь и продолжая болтать, пудриться и подводить губы, как будто гимн разрушил их женское очарование в глазах мужчин.

Капитан с выпуклыми глазами подозвал официанта, ткнул коротким пальцем в сторону столика Щедрина и сказал:

– Уберите это!

Официант не понимал и, заискивая, смотрел в брезгливое лицо капитана.

– Что прикажете? – спросил он, согнувшись.

– У вас под столиком валяются тряпки! – сказал, раздражаясь, капитан и начал краснеть.

Женщина в лиловом платье быстро заморгала глазами. Официант подошел, поднял скомканый носовой платок и положил его на стол около матери Щедрина.

– Обронили, – сказал он тихо и, пятясь, отступил.

Щедрин смотрел на капитана, руки у него холодели и лицо темнело от гнева.

– Саша! – сказала мать. – Успокойся... Ради бога, успокойся!

Капитан жадно ел, не обращая на Щедрина никакого внимания. Он сочно жевал, и черная его борода ерзала по синеватой хрустящей салфетке, заткнутой за тугий крахмальный воротник.

– Пойдем отсюда, – сказал Щедрин матери. – Нам нечего делать здесь, среди этих...

Голова у матери затряслась от страха за сына.

Щедрин смолчал. Они вышли. Только на лестнице Щедрин договорил начатую фразу:

– Нам нечего делать среди этих скотов. Голубая остзейская кровь! Мало их топили в Кронштадте в пятом году! – Мать замахала на него руками.

База миноносной флотилии была расположена в городке Мариегамне, на одном из островов Аландского архипелага.

Щедрин был назначен на миноносец «Смелый». «Смелый» нес патрульную службу вблизи берегов, выискивая немецкие подводные лодки, и в Мариегамн возвращался редко.

Месяц за месяцем тянулись скитания по серой и пустынной Балтике. Днем и ночью холодная вода шипела у стальных бортов, гудели турбины, наблюдатели до ряби в глазах всматривались в горизонт, чтобы не пропустить дым или перископ подводной лодки. Офицеры играли в кают-компании в карты. Трудно было поверить, что на море идет война и тусклая вода вокруг полна опасностей. Моряки жаловались, что самая скучная служба на флоте, конечно, на дозорных судах.

– Рыщем, рыщем, – говорили между собой матросы, – блоху в сене ищем.

В последних числах февраля «Смелый» вышел к берегам Швеции. С утра падал снег, перемежавшийся градом и дождем. В корму бил порывистый ветер. Каждую минуту он менял направление и хлестал то в спину, то в лицо, то справа, то слева.

Рыхлые тучи, налитые темной водой, низко неслись над морем. Волны, казалось, дохлестывали до них крутыми гребнями. На всем лежал хмурый налет, будто море закрыла огромная зловещая тень, солнце ушло навсегда в другие, счастливые страны и посылает Балтике свой потухающий свет.

– Не то ночь, не то день – ни черта не разберешь! – жаловались вахтенные. – Вот собачья работа!

В свободное время Щедрин много читал. Сначала офицеры заходили к нему в каюту и просили дать почитать что-нибудь, но потом бросили. Выбор книг, по их мнению, был скучный. У Щедрина было больше всего научных книг, офицеры же спрашивали развлекательную беллетристику.

Кроме офицеров, книги у Щедрина брал иногда штурвальный Марченко – бывший матрос торгового флота, черноморец, неуклюжий, сутулый человек с прищуренными глазами. Во всех случаях жизни он сохранял невозмутимость, а свое отношение к окружающему выражал несколькими любимыми словами. Самым любимым его словом было «кабаре».

– Это же кабаре! – говорил он, если видел что-нибудь нелепое или непонятное. – Чистое кабаре, накажи меня Бог!

В один из этих сумрачных дней Щедрин, освободившись от вахты, лежал у себя в каюте и читал книгу о движении материков. Теория эта была в то время мало известна и поражала своей простотой. Особенно удивляло Щедрина наглядное доказательство этой теории. Щедрин брал небольшую карту земного шара, вырезал из нее ножницами Америку, Европу и Африку, поддвигал Америку к Европе, и контуры материков сходились, как края одного куска бумаги, разорванной на части.

За пристрастие к наукам молодой мичман с радостными глазами, Акерман, прозвал Щедрина «Чарльзом Дарвином», а миноносец был прозван «Смелым Биглем».

По старой морской привычке, все миноносцы носили прозвища, так же как и большинство офицеров.

Волосатого командующего флотилией звали «Палубный лев». Старшего офицера на «Смелом», Виктора Попова, прозвали за его маленький рост «Полувитей». Когда Полувитя стоял на мостике, то над поручнями торчала одна его голова в клеенчатом штормовом капюшоне. Миноносец «Стремительный», ходивший вместе со «Смелым», прозвали «Паровой балагулой» за то, что он всегда отставал.

Акерман был начитан, обладал удивительной памятью, любил шутить и выражаться в торжественном стиле авантюрных романов.

Щедрин лежал с книгой в руке, но вдруг схватился за койку. Миноносец сильно качнуло. Он круто поворачивал, меняя курс. Книга упала на пол.

Щедрин сел на койке и вздрогнул: оглушительные колокола боевой тревоги гремели по миноносцу. Над головой, топоча сапогами по железным настилам, бежали люди.

Щедрин, путаясь в рукавах шинели, натягивая ее на ходу, выбежал на палубу. На трапе он столкнулся с Акерманом.

– Что случилось? – спросил Щедрин.

– Наш маленький отважный корабль, – ответил Акерман, – ринулся на неприятельский крейсер.

– Да ну вас! – отмахнулся Щедрин и побежал дальше.

– Команда застыла у орудий, готовая или победить, или умереть! – крикнул ему в спину Акерман. – Слышите?

– Сумасшедший! – успел прокричать Щедрин.

Акерман, ловко спускаясь по трапу к своему месту около орудия, показал Щедрину кулак.

Произошло следующее.

Вблизи шведских берегов с мостика заметили на горизонте немецкий крейсер. Он шел к юго-западу и вел на буксире небольшое судно. Из-за сумерек судно приняли сначала за миноносец, но потом рассмотрели, что это подводная лодка.

Когда Щедрин выбежал на палубу, «Смелый» полным ходом шел с запада на юг, сближаясь с крейсером.

Град бил в лицо. Восточная часть неба была темнее западной. В этом было преимущество «Смелого». С крейсера почти не видели миноносца – он казался сгустком дыма и мглы, мчавшейся в бурунах и пене. Крейсер же чернел на пасмурном небе громадой своих надстроек, труб и орудийных башен.

– Теперь на том крейсере чистое кабаре, – сказал Марченко, стоя рядом с Щедриным. – С таким грузом на хвосте немисливо драться. Сейчас немцы отдадут буксир и кинут свою лодку. Будет дело!

Крейсер становился все темнее и ближе. Он не прибавлял хода, грозно молчал, и в этой неторопливости крейсера и в его молчании Щедрин почувствовал приближение сокрушительного удара.

Палуба миноносца дрожала. Размахи от волн делались все круче. Люди на мостике и у орудий были привязаны к поручням.

На крейсере полыхнули четыре широких багровых огня, и тяжелый гул понесся в непроглядные морские дали. Снаряды легли за кормой «Смелого».

«Смелый» развернулся бортом и послал мину. Взрыва не последовало. Крейсер отдал буксирный трос, оставил лодку и, громяхая из орудий, начал быстро уходить к югу. Снаряд ударил в правый борт «Смелого», около кормы. Столб воды обрушился на палубу. Щедрин насквозь промок. На корме послышались крики. Командир послал туда Щедрина.

– Мичман Акерман ранен, – сказал он. – Замените его.

Щедрин прошел на корму. Несколько матросов подняли Акермана. У него была раздроблена нога. Он успел сказать Щедрину:

– Немного рвануло борт, но это пустяки. Командуйте. – Он усмехнулся и добавил: – Истекая кровью, он отдавал приказания матросам...

Акерман хотел сказать еще что-то шутовское, но вскрикнул и застонал. Матросы, приседая и хватаясь за поручни, понесли его вниз, в кают-компанию.

«Смелый» перенес огонь на подводную лодку.

Люди у орудий работали торопливо и безмолвно. Лодка грузно качалась на волнах, как мертвый тюлень, и не отвечала. Ее уже едва было видно в сгустившихся сумерках.

Град барабанил по палубе и отскакивал от поручней. Мутное небо гудело и несло к востоку мимо бортов миноносца.

Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика, но лодка молчала. Молчание казалось зловещим и опасным.

– Она же пустая, – сказал Марченко Щедрину. – Зря снаряды тратим. Бьем по мертвому месту.

Щедрин не поверил матросу – не могли же немцы вести на буксире подводную лодку без единого человека команды!

Сорвался шквал. Командир «Смелого» Розен приказал прекратить огонь. Снег лепил в лицо, порошил глаза, ветер вертел его серыми вихрями вокруг широких труб миноносца.

Палуба была как будто залита темной тушью. Ночь завладела морем и миноносцем: даже в каютах, где были наглухо завинчены стальные крышки на иллюминаторах, лампочки горели в четверть накала.

«Смелый» открыл прожектор и медленно кружился около подводной лодки.

Щедрин спустился в кают-компанию, к Акерману. В каюте было холодно, пахло лекарствами. Миноносец сильно качало, и при каждом размахе Акерман стонал все сильнее.

– Почему мы топчемся на месте, а не идем в Мариегамн? – спросил он Щедрина, не открывая глаз.

– Командир решил не отрываться от лодки. Лодка молчит. Черт ее знает, что с ней! Утром мы к ней подойдем.

– Значит, мне отрежут ногу, – сказал Акерман. – Она уже вся горит. Из-за какого-то железного, воняющего отработанным газом чудовища. Какая чепуха! Фельдшер ни бельмеса не понимает.

Акерман махнул Щедрина рукой, чтобы тот вышел.

Щедрин пошел к Розену. Щедрина тоже тряс озноб, и сильно болело под лопатками, трудно было дышать.

Розен стоял на мостике с Полувитей. Розен был тощий молчаливый остзеец. Он носил баки, и сейчас они, мокрые от снега, торчали по сторонам его фуражки, как маленькие уши хитрого и хищного зверя.

– Карл Игнатьевич, – сказал Щедрин очень громко, стараясь перекрыть шум ветра в ушах, – мичману Акерману очень плохо. В ноге началось воспаление.

– Эх-хе-хе... – добродушно вздохнул Полувитя. – Придется ему потерпеть.

– Нельзя ли сейчас забуксировать лодку и идти в Мариегамн? – спросил Щедрин.

Розен обернулся к Полувите и пожал плечами.

– Вот извольте, – сказал он. – Сколько раз я просил, Виктор Петрович, этих дураков в штабе не назначать ко мне на миноносец юношей, интересующихся науками! – Он повернулся к Щедрину, засунул руки в карманы шинели и крикнул хриповатым голосом: – Это военный корабль, а не студенческая сходка! Прошу мне не указывать.

Щедрин махнул рукой и спустился с мостика.

Ночь тянулась очень медленно. Казалось, что утро никогда не сможет пробиться сквозь гущу туч, сквозь темную сырость и снег.

На рассвете «Смелый» начал осторожно подходить к лодке и дал по ней предупредительный выстрел. Лодка молчала.

С трудом спустили шлюпку, перебросили на лодку людей и завезли буксирный трос.

В числе посланных на подводную лодку были Щедрин и Марченко.

То, что Щедрин увидел, показалось ему отвратительным сном. Люк лодки был открыт. В капитанской рубке сидел на полу немец-матрос. Он спал, и его никак не могли разбудить. Рядом с ним лежал труп офицера, должно быть командира лодки.

Из люка несло легким трупным смрадом и запахом хлора. Полувитя, Щедрин, Марченко и два матроса спустились внутрь лодки. Там было темно, пришлось светить карманными электрическими фонарями.

Вся команда лодки была мертва. Люди лежали на койках. На лицах было выражение усталости и умиротворения. Два мертвых матроса сидели скорчившись около открытых кислородных приборов.

Лодка качалась, и вместе с ней качались свисавшие с коек мертвые руки и головы людей.

– Да, – сказал Марченко, – вот она как обернулась, война. Без крови.

Слова его отдавались в голове тупой болью.

– Они задохлись, – сказал старший офицер. – Во сне. Должно быть, лодка опустилась ночью на дно, чтобы дать отдых команде. Два матроса были приставлены к кислородным приборам, чтобы раз за ночь выпустить немного кислорода. Матросы открыли приборы, но не успели их закрыть: они тотчас уснули, кислород их одурманил. Вы не представляете, какой тяжелый сон бывает у людей на подводных лодках!

Щедрин и матросы слушали молча.

– Воображаю, – сказал старший офицер, – какие замечательные сны они видели перед смертью. Сначала кислород заполнил лодку, потом так же быстро, как кислород, начала каплиться углекислота. Она их и задушила.

– А как же, Виктор Петрович, – спросил Щедрин и проглотил слюну: во рту был привкус меди, – как они могли всплыть и дать радио о помощи? Этого я не понимаю.

– Я ведь тоже ничего не знаю, голубчик, – ответил старший офицер и посветил фонарем на мертвых матросов. – Должно быть, двое или трое очнулись. Успели пустить сжатый воздух в цистерны, всплыть и послать радио. Но это было, как бы вам сказать, вроде их предсмертной судороги... Ну, пошли наверх!

– Заработали железный гроб, – пробормотал Марченко, подымаясь по трапу.

На палубе подводной лодки Щедрина снова окатило волной, и он начал дрожать так сильно, что с трудом отвечал на вопросы старшего офицера. Полувитя пристально посмотрел на Щедрина.

– Вернитесь на миноносец, – сказал он. – Здесь хватит и троих матросов.

– Да нет, я ничего, – ответил Щедрин и попытался улыбнуться, но из улыбки ничего не получилось. – Вот только промок.

Полувитя вздохнул и отвернулся. Матроса-немца подняли на руки и перетащили в шлюпку. Он зачмокал во сне губами, но не проснулся.

Шлюпка отошла к «Смелому». Он дымил, переваливаясь на волнах, и как будто укоризненно качал головой.

Щедрин сидел нахохлившись в шлюпке, и обрывки мыслей суетились у него в голове. Если бы знала об этом мать! Но ей даже трудно рассказать все, что он видел. Вообще никому нельзя об этом рассказать.

– Сами лезут к черту на рога, – сказал он вслух.

Но никто не обратил внимания на его слова. Матросы гребли, а Полувитя сидел, поднимая воротник шинели, и вид у него был совсем не военный. Маленький, с рыжей мокрой бородкой и набрякшим лицом, он был похож на земского доктора.

«Но и ты ведь тоже сам лезешь», – подумал Щедрин и начал вспоминать, как он попал на войну. Нет, конечно, он пошел не сам, его взяли. Значит, кто-то имеет власть над его жизнью, над любовью к матери, над его судьбой.

«Но кто же, кто? – спрашивал себя Щедрин. – Царь?» Над царем в его семье всегда смеялись, называли его тупицей и армейским пьянчужкой.

«В Мариегамне разберусь», – подумал Щедрин. Сейчас думать не хотелось. Сейчас хотелось раздеться, лечь на койку, закутаться с головой в одеяло и следить за тонкими, как паутинки, постоянно обрывающимися снами.

Но все-таки зачем, например, Полувите, человеку скромному, обремененному кучей детей, дали в руки стальные приборы, созданные для того, чтобы рвать, рубить, кромсать живое человеческое тело?

«Произошла какая-то ошибка в нашем сознании», – подумал Щедрин. Он вспомнил своего репетитора, студента Райковича. Этот голодный и на- смешливый человек только один раз заговорил о войне, когда Щедрин поступал в морскую школу.

– Я признаю, – сказал он, – только одну войну. Она будет необходима и даже желательна. Я говорю о войне, направленной против возможности всех войн в мире, о войне не между народами, а между теми, кто хочет жить в мире, и теми, кто живет войной.

Шлюпка подошла к «Смелому». С кормы спустили штормовый трап. Щедрин подымался с трудом. Перед ним карабкался Полувитя, и полы его мокрой шинели били Щедрина по лицу.

Щедрин заметил, что после боя матросы и некоторые офицеры потеряли прежний воинский лоск. Они были подавлены, ходили сторбившись, и почти у каждого в глазах была та же тревога, что и у Щедрина, – тревога от разбуженных боем и недодуманных мыслей.

«Смелый» медленно, часто стопоря машины, чтобы не оборвать буксирный трос, пошел в Мариегамн.

Погода менялась. Ветер стихал. В полдень боязливый свет солнца прорвался сквозь облака. Флаг на «Смелом» был приспущен.

Щедрин лежал у себя в каюте, стонал от ломоты в костях, морщился и кашлял. Он часто засыпал. Его будил судовой фельдшер. Он приносил Щедрину чай и горькие пилюли. Щедрин безропотно проглатывал их и снова засыпал.

Ему снилось, будто он падает ночью в холодную воду. Она с шипением отскакивает от его горячего тела, и сквозь снежную крупу он видит, как взлетает почти до неба и падает в водяные провалы кильватерный огонь «Смелого», взлетает, падает и тускнеет, закатываясь, как звезда, в мрачных ночных горизонтах.

Щедрин звал во сне мать. Он ворочался, сбрасывал одеяло, и лицо его, воспаленное, со спутанными волосами, было похоже на лицо больного мальчика. Щедрину было в то время всего двадцать лет.

В Мариегамне Акермана и Щедрина сдали в лазарет. У Щедрина началось воспаление легких.

Лазарет был старинный, построенный в начале девятнадцатого века. Почти все столетие до немецкой войны лазарет пустовал: народ на Аландских островах был крепкий, краснощечный, болел редко.

От каменных полов в лазарете было холодно и гулко – шаги врача доносились издали. Щедрин и Акерман, лежа в дремоте, слушали треск огня в кафельных печах. На печных изразцах были изображены синеватые парусные корабли, неуклюжие, похожие на корыта. Корабли выпускали из пушек пухлые шары дыма.

В эту зиму в лазарете было особенно пусто и глухо. Кончался февраль. В России началась революция. Флот волновался, и до лазарета никому не было дела. Об Акермане и Щедрине как будто забыли.

Единственным вестником, приходившим из далекого мира, шумевшего за окнами сиренами кораблей и звоном весенней капли, был доктор – обрусевший швед, проживший всю жизнь на Аланде.

Его седые волосы торчали на голове в беспорядке, халат всегда распахивался. Он постоянно хохотал у себя в кабинете, и смех его долетал в самые дальние углы лазарета.

Щедрин любил посещения доктора. С ним в палату врывался живой запах табака и спирта. Доктор прикладывал ухо к груди Щедрина; волосы у доктора всегда были мокрые, должно быть от капли и тумана.

Чем ближе к весне, тем чаще остров был затянут туманом. В тумане пищали чайки, перекликались дети, а однажды вечером Акерман разбудил Щедрину, и они долго слушали, как в густом тумане за окнами торжественно и победно гремела «Марсельеза».

«К оружию, граждане!» – пели серебряные трубы.

Их заглушало глухое и грозное «ура».

– Узнаю голоса наших матросов, – говорил Акерман. – Худо сейчас шкуродерам, ой, худо! Разгневанный народ кинулся в дворцы тиранов!

Нога у Акермана заживала, и он снова начал шутить.

Однажды пришел Марченко.

Он рассказал, что его выбрали на «Смелом» председателем судебного комитета, и принес Щедрину и Акерману подарки от команды – папиросы, два сухих апельсина и пачку газет за последние дни.

– Слушай, Марченко, мы же все-таки офицеры, – сказал Акерман. – Белая кость, голубая кровь и все такое прочее.

Марченко ухмыльнулся:

– Да вы ж почти что наши. Какие вы, извините, офицеры! Офицеры – это шкуры, а вы студенты. У вас мозги другие.

– Ну что ж, – сказал Акерман, – хоть мы и не заслужили, но и на том спасибо. Значит, будем винтить революцию до конца.

– Известно, до конца.

Марченко встал. Он торопился на матросский митинг.

– Где команды митингуют? – спросил Акерман. – На кораблях?

– Зачем на кораблях! На кораблях тесно. Собираемся на кладбище.

– Подходящее место! – усмехнулся Акерман.

– Самое подходящее, – серьезно возразил Марченко. – На кладбище есть одна могила, облюбовали ее матросы. Около той могилы и собираются, становятся прямо на камень, на валун, и говорят свои матросские речи.

– Чья же это могила?

– Вижу я, – сказал Марченко с сокрушением, – что придется вам об ней рассказать, а то вы вовсе как сухопутные, ничего не знаете. Лежат под тем камнем солдат Семен Тихонов и прапорщик Бестужев. Похоронены они вместе еще при Николае Первом. Понятно, матросы увидели ту могилу, и стало им интересно, почему это солдат зарыт с офицером и лежит на них один тяжелый валун. Стало матросам интересно, и доискались они обо всем у местных жителей. Сами знаете, нет такого дела на свете, до которого бы хороший матрос не мог попытаться. На то он и матрос. Докопались матросы, что сто лет назад стояли в этих местах крепкие зимы и залив замерзал кругом – от края до края. Теперь этого нету. Теперь, сами видите, зима здесь гнилая: снег, да туман, да дожди, чистая слякоть... Сто лет назад было в Петербурге восстание. Один из тех, кто был в том восстании, бежал, уносил голову от царской награды. Дошел он по льду до здешнего острова, хотел податься в Швецию и попался: схватили его не то жандармы, не то офицеры. И был бы ему верный конец, когда бы не помогли ему бежать тот самый солдат Тихонов и прапорщик Бестужев. Выручили человека, а сами погибли злой смертью.

– Какой смертью?

– Об этом говорят разное. Кто говорит – расстреляли их перед казармами, кто говорит – засекли шомполами и похоронили рядом, в одной могиле.

– Офицера не могли засечь шомполами, – сказал Акерман.

– Ну, как-нибудь другим манером, а все-таки сжили со света... Спите, поправляйтесь, сейчас на воле весело.

Марченко попрощался и ушел.

Щедрин лежал, закрыв глаза. Он вспомнил рассказы матери о деде, восторженные рассказы теток, над которыми он насмехался, и то, что с детских лет казалось ему семейной выдумкой, внезапно приобрело реальность, вышло из тесного круга их семьи, получило неожиданное значение для новых, революционных времен, становилось широко известным не только ему, матери, его смешным теткам, но и сотням матросов. Значит, дед действительно был здесь, и в тогдашние крутые и страшные времена нашлись два человека, пожертвовавшие жизнью, чтобы спасти его от казни. Подвиг этих людей казался Щедрину гораздо выше, чем подвиг деда. И чем больше Щедрин думал об этом, тем сильнее волновался.

– Слушай, Акерман, – спросил он тихо, – как их зовут?

– Кого?

– Ну этих двоих, похороненных вместе.

– Солдата – Тихонов, а прапорщика – Бестужев.

Щедрину хотелось рассказать Акерману о деде, но он сдержался: больше всего он боялся насмешек и недоверия. «Какой же ты, Саша, к черту, внук декабриста! – скажет Акерман. – Ты же теряешься перед Розеном и не умеешь запросто сойтись с матросами. Ты же типичная шляпа, а не внук декабриста».

Темнело. Зеленая заря горела за оконным переплетом.

В коридоре слышались шаги. Вошел веселый растрепанный доктор. За ним санитар вел, поддерживая за спину, плотного чернобородого человека. Нового больного уложили на койку. Он уставился в потолок выпуклыми насмешливыми глазами и молчал. Доктор потер руки.

– Вот вам, молодые люди, – сказал он, – еще один товарищ по болезни. Втроем будет веселее.

Щедрин лежал, не открывая глаз. Он очень устал от разговора с Марченко и от мыслей о деде. Ему хотелось спать.

– Я настаиваю, доктор, – сказал новый больной резким голосом (Щедрин открыл глаза и быстро приподнял голову), – чтобы при первой возможности вы отправили меня в Гельсингфорс. Лечение здесь меня не устраивает.

– Господин каперанг¹, – сказал Щедрин, – Гельсингфорс вам не поможет.

– То есть как? – нагло спросил новый больной. – Что вы городите, мальчик!

– Я не мальчик, а офицер революционного флота и к тому же кухаркин сын, – ответил Щедрин. – Мы с вами виделись на елке в Ревеле. Забыли?

– Представьте себе, не помню, – зло ответил каперанг. – Не припомню такого счастливого случая в своей жизни.

Щедрин сел на койке и сказал, обращаясь к встревоженному доктору:

– Уберите от нас этого хама!

– Но-но! – крикнул каперанг, приподымаясь. – Вы будете иметь дело с командиром флотилии.

– А вы будете иметь дело с матросами флотилии, – ответил, бледнея, Щедрин. – Доктор, этот офицер оскорбил при мне женщину только за то, что она была бедна и плохо одета. Сейчас он собирается дезертировать из флота в Гельсингфорс. Все равно – не здесь, так в Гельсингфорсе матросы с ним посчитаются.

– Ишиас – болезнь весьма удобная, – пробормотал Акерман. – Болит – и ничего не видно. А бывает наоборот, и не болит – и все равно ничего не видно.

¹ Каперанг – сокращенное от «капитан первого ранга».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.